

МАРТИН КУШ

Победителю достается все: Философия жизни и триумф феноменологии

Введение

Ранее¹ мы проследили полемику по поводу психологизма и философского статуса экспериментальной психологии. Мы увидели, что эти два спора были взаимосвязаны: например, аргументация против психологизма была одновременно и аргументацией против назначения экспериментальных психологов на должность профессоров философских факультетов. Нам предстоит найти объяснение тому, почему эти диспуты были впоследствии прекращены, а также почему победу одержали феноменология и феноменологические взгляды на психологизм и экспериментальную психологию.

В своем объяснении я делаю акцент на двух причинных факторах, а именно на последствиях Первой мировой войны и на настроениях, царивших в Веймарской республике. Война создала атмосферу, в которой нападки на коллег рассматривались как совершенно неприемлемое поведение. Более того, война также привела к четкому разделению труда между «чистыми» философами и психологами: в то время как чистая философия концентрировалась на идеологической задаче прославления немецкого «военного гения», в задачи экспериментальной психологии входили подготовка и тестирование солдат.

Я охарактеризую изменения в ментальности послевоенного периода, которые возникли в результате поражения Германии, и проанализирую последствия воздействия этих изменений на чистую философию и экспериментальную психологию соответственно. По сути, и чистая философия, и экспериментальная психология должны были выживать в интеллектуальном окружении, враждебном к науке, рациональности и систематическому знанию, и приспособливаться к нему.

Чистые философы опирались на две стратегии выживания в этой атмосфере, и часто прибегали к ним одновременно: они или атаковали *философию жизни*, которая задавала тон новым настроениям, или же представлялись

¹ См., напр.: Мартин Куш. Социология философского знания: конкретное исследование и защита // «Логос», №5–6 (35), 2002, с. 104–134. — *Прим. ред.*

как ее истинные лидеры. Риккерт, ведущий неокантианец в период Веймарской республики, выбрал стратегию нападения, в то время как такие феноменологи как Шелер выступали за сотрудничество. Вторая стратегия оказалась гораздо более успешной, и феноменология постепенно занимала все более и более доминирующую позицию. Благодаря своему превосходству, феноменология впоследствии смогла навязать свои взгляды и на историю предвоенных философских прений.

В то же самое время проект по развитию натуралистической философии, опирающейся на экспериментальную психологию, быстро терял поддержку. Сторонники и практики экспериментальной психологии, таким образом, должны были искать новые способы для оправдания значимости своей дисциплины. Многие из них продолжили занятия прикладной психологией, в которые они были вовлечены в военный период. Их выбор поддерживали и государство, и промышленность, финансировавшие новые кафедры психологии исключительно в ориентированных на практику технических университетах. Психологи, желавшие остаться в составе философских факультетов, прибегали к стратегии формирования альянсов со своим (уже бывшим) врагом: они отрицали то, что они стали называть «атомистической» предвоенной традицией экспериментальной психологии, и теперь открыто приветствовали и осваивали ранее осмеиваемую философскую психологию Дильтея и Гуссерля.

Война и мир

Когда в августе 1914 разразилась война, академическая вражда в германском Рейхе немедленно прекратилась. Заявление *Kaiserpa* Германии «Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche» [Отныне я не знаю никаких партий, я знаю только немцев] было встречено приветствиями не только в политической сфере, но и в «академических окопах», в которых также шла война. В чистосердечных попытках мобилизовать свои силы в военном тылу, университетские профессора примкнули к таким интеллектуалам как Томас Манн, Герхарт Гаупманн, Стефан Джордж и Роберт Музиль, с энтузиазмом приветствовавших войну (Нерр 1987: 149). Настолько сильно было ощущение начала нового этапа, что даже германский антисемитизм казался чем-то, оставшимся в далеком прошлом. Не кто-нибудь, а сам Герман Коген был готов поехать в Америку с задачей убедить еврейские организации в необходимости полной интеграции евреев в немецкое общество (Zechlin 1969: 89). Интеллектуалы всех чинов и разрядов торопились сдать свои патриотические памфлеты в печать, и тысячи публичных лекций звучали повсеместно. Рудольф Ойкен, например, выступил с 36 лекциями только за один год (Ringer 1969: 182). Почти все германские интеллектуалы превозносили вновь обретенное социальное единство и «идеи 1914 года». Это выражение впервые употребил экономист Иоганн Пленге, написавший следующее:

В один из дней в грядущем, когда мы будем отмечать годовщину этой войны, этот день будет в нашей памяти праздником мобилизации. Праздником Второго августа... Тем днем, когда был рожден наш новый дух: дух теснейшей интеграции всех экономических и политических сил в единое целое... Новое германское государство! идеи 1914 года! (Цитата взята из Ringer 1969: 181).

Заклятые враги теперь взывают в один голос; например, воззвание, обосновывающее цели Германии в мировой войне было подписано ни более ни менее чем 352 университетскими профессорами (Ringer, 1969: 181), и подписи Ойкена, Лампрехта, Виндельбанда и Вундта могут быть найдены под пресловутым «*Aufruf der 93 an die Kulturwelt*» [Воззвание девяноста трех к культурному миру]. Задачей этого *воззвания* было «изъявить протест против лжи и обвинений, которыми наши враги пытаются замарать чистые побуждения Германии». В послании говорилось, что «выступающие от имени человечества в постыдной форме набега монголов и негров, в наименьшей степени могут считаться защитниками европейской цивилизации». Призыв заканчивался защитой германского милитаризма:

Это ложь... что война против так называемого милитаризма не является войной против нашей культуры. Без германского милитаризма германская культура уже давно исчезла бы с лица земли. ... Германская армия и германский народ едины. Сегодня осознание этого факта объединяет 70 миллионов немцев, вне зависимости от их образования, социального статуса или партийной принадлежности (Цитата взята из Нерр 1987: 207–8).

«Гений войны»: Чистая философия идет на войну

Чистые философы принадлежали к числу ведущих популяризаторов целей Германии в войне. Многие из них выступали с публичными лекциями и публиковали книги и статьи на тему смысла войны в целом, а также о роли Германии в текущей борьбе.²

Среди неокантианцев наиболее плодовитым автором был Пауль Наторп, написавший, в совокупности, три книги (1915b 1918a, 1918b). В представлении Наторпа, Германия, в отличие от своих врагов, воевала ради свободы для всех стран и народов. Именно в силу того, что Германия вступила в войну за свободу каждого и воевала «из глубочайшей любви к миру», Германия обладала моральным превосходством над остальными нациями (1915: 63). С точки зрения Наторпа, для немцев это было время противостояния «низости» их врагов, «используя единственно подходящий для этой цели язык: ясный и понятный язык кулаков. Применение этого языка оправдано вечной истиной: тот, кто лжет, заслуживает быть побитым». Язык кулаков, согласно Наторпу, не был естественной чертой немецкого народа, но Германия была вынуждена научиться этой форме общения для того, чтобы выполнить свою мировую историческую задачу: «сегодня именно мы боремся за вечную моральную справедливость» (1915: 64–5). В то время как другие страны завоевывали мир, Германия делала важные философские открытия (1915: 77). Таким образом, только Германии удалось разработать, и в какой-то мере воплотить, модель идеального общества, основанного на разуме. Это общество было комбинацией «социализма» и «милитаризма», «внутренней организацией [общества] ... основанного на автономии рациональной воли». Это было общество, в котором рационально мыслящий индивид отождествлял себя с интересами общества в целом (1915: 83–5). «С этой целью Германия должна победить в войне — выиграть войну или погибнуть!» (1915: 90).

² Более детальный обзор и анализ работ немецких философов в военное время представлен в Lubbe (1974).

Алоиз Риль (Riehl, 1915), ведущий представитель неокантианской философии в Берлине, разрабатывал похожие темы. Как и многие другие философы того времени, Риль говорил о войне как о битве между культурой и цивилизацией. Уже в предвоенное время эта смысловая пара играла основную роль в критике эпохи модерна (Elias 1978; Ringer 1969). В период же, о котором идет речь, различие между культурой и цивилизацией использовалось для оправдания превосходства Германии над союзниками – странами Антанты. Риль говорил об этом различии следующим образом:

Мы называем цивилизацией всю сумму (и использование) тех средств, которые делают нашу «внешнюю» жизнь более простой и более красивой. Сердцевиной цивилизации являются социальные соглашения, стиль и обстановка наших жилищ, также как и технические изобретения, приумножающие нашу власть над природой и делающие ее служанкой нашей воли: беспроволочный телеграф, аэропланы, дирижабли. Даже интеллектуальные занятия, то есть тренировка нашей способности к пониманию, есть не более чем цивилизация, то есть нечто не более чем внешнее. Но культура поддерживает душу в этом теле. Культура – понятие, обозначающее внутреннее, культура рождается из внутреннего, духовного содержания жизни, и никакой прогресс во внешнем оформлении жизненных условий, никакая замысловатость условий, не могут заменить культуру... Таким образом, мы вполне можем понять, каким образом высочайший уровень цивилизации может совпадать с низким уровнем настоящей, внутренней культуры (Riehl 1915: 315).

С точки зрения Рилья, французское, английское и русское общества шли по пути развития цивилизации, в то время как Германия демонстрировала высокий уровень культуры: «Эта война есть на самом деле война за культуру (Kulturkrieg). Мы воюем за сохранение и улучшение нашей культуры, и мы знаем, что таким образом мы боремся за культуру всего человечества» (1915: 325). Риль отрицал идею, высказываемую некоторыми британскими и французскими интеллектуалами, о том, что Германию следует освободить от милитаризма. Например, Риль сетовал на то, что врагам Германии не удалось понять даже то, «хотим ли мы быть свободными от так называемого милитаризма» (1915: 320). Как и Натюрц, Риль видел в войне доказательство тому, что для современного общества недостаточно быть просто суммой индивидов:

В начале августа прошлого года, в самом начале войны, наша нация испытала полное внутреннее обновление... Призыв отечества, оказавшегося в опасности, обратился к нашим высшим моральным способностям, и мы все как будто стали чище и лучше. Долгий мир был вреден для нас, но ущерб, нанесенный миром, исчез как нечто чужеродное... Один народ и один дух, целая нация поднялась в достойном удивления единстве. Это означает, что нация (Volk) – это больше, чем совокупность граждан (1915: 316 – 17).

Стоит упомянуть третьего неокантианского философа, ученика Риккертта, Бруно Бауха. Обзор основных работ военного периода Вундта (Wundt, 1915), выполненный Баухом (Bauch, 1915), является примечательным свидетельством того, как бывшие академические оппоненты становились друзьями. Баух не зашел настолько далеко, чтобы назвать Вундта философом, но в других отношениях Баух превозносил и восхищался Вундтом: Вундт был «настоящим немцем» (1915: 305), чье описание англичан было «мастерским», и чьи работы целиком были образцом «духа немецкой прав-

дивости и немецкого характера... который, будем надеяться, в один прекрасный день пригодится всему культурному человечеству» (1915: 310).

Статья Бауха «О понятии нации» («Vom Begriff der Nation» (1916–17)) была откровенно расистской и антисемитской. Я уже процитировал ключевой пассаж из печально известного «Воззвания 93 к культурному человечеству», в котором выражался протест против того, что немцы, как белая раса были вынуждены воевать против «монголов и негров». Действительно, это недовольство играло важную роль на протяжении всей войны. К 1916 году, когда энтузиазм по поводу войны пошел на спад, и даже Рудольф Ойкен выступал перед полупустой аудиторией (Lbbe 1974: 183), расистские настроения сочетались с поисками козла отпущения: общественность теперь волновал вопрос, а «достаточно» ли евреев гибнет в огне войны (Zechlin 1969: 528). Статья Бауха «Vom Begriff der Nation» была попыткой философски обосновать подъем антисемитизма. Согласно Бауху, единство немецкой нации было единством крови и черепа:

Общая кровь есть объединяющий элемент в естественном существовании нации... Если через много поколений антрополог наткнется на мой череп, он должен будет или немедленно распознать череп немца, или имя ему шарлатан... когда в эти сложные времена наши воины сражаются против врагов в жестоких, тяжелых и беспощадных битвах, и когда те же самые воины, находясь в плену, возделывают поля и поддерживают хозяйство врагов своих, помогают их женам в трудах и бедствиях, делят свой хлеб с их детьми, общаясь дружелюбно и с любовью, разделяя радости и горести детей, как если бы их родной отец был с ними, учат их играм, и даже поют немецкие рождественские песенки детям своего врага — большинство людей в стане врага находят это непонятным и поразительным. Но мы просто говорим о наших воинах: «Это кровь от нашей крови» (Bauch 1916–17: 142).

С точки зрения Бауха, евреи не были частью немецкой нации. Они были «этническими чужаками» (v lksische Fremdlinge), а их язык — «не нашим языком» (1916–17: 147).

Переходя от неокантианцев к феноменологам, необходимо заметить, что никто из них не достиг такого большого успеха в работах военного времени, как Макс Шелер, студент Рудольфа Ойкена, перешедший в лагерь феноменологов³. Статьи военного периода Шелера составили три тома, *Der Genius des Krieges und der deutsche Krieg* (1915a), *Krieg und Aufbau* (1916) и *Die Ursachen des Deutschen Hasses* (1919). Эти сочинения в одночасье принесли ему популярность в Германии (Hartmann 1928: xiii), они же заложили основание главенству Шелера — и феноменологии — в Веймарский период.

Центральной и непреходящей темой военных книг Шелера была идея того, что война создала «сообщества любви»: «Наиважнейшая объективная цель войны... есть прежде всего: формирование и расширение тех или иных из множества возможных форм истинных союзов любви. Такие союзы, как “народ”, “нация”, и пр., представляют собой противоположность основаным на интересе сообществам, которые фактически существуют или же воз-

³ Гуссерль не опубликовал ни одной военной речи, хотя в своих публичных выступлениях он также защищал ту точку зрения, что победа Германии будет победой «всего человечества» ([1917] 1987: 293).

никли в полном соответствии с законами» (1915а: 10). Поскольку война усиливает чувство любви среди человеческих существ, война есть более ценное состояние, чем мир. Мир «объединяет людей только внешне; это происходит потому, что мир превращает людей в атомы и разъединяет их» (1915: 89). А поскольку война есть наиболее эффективный способ формирования сообществ любви, участие в войне становится религиозным долгом. Из-за грехопадения и первородного греха Бог положил морали войны быть необходимой переходной фазой перед достижением морали любви: «война остается позитивной и существенной частью божественного избавления от грехов» (1915а: 97).

Описывая преимущества войны, Шелер также использовал метафоры здоровья и болезни. Война

вносит на поверхность ужасные конфликты, связанные с ненавистью, завистью, гневом, мстью, яростью и отвращением — чувства, которые в мирные времена подавлены и загнаны в темные подвалы души, — и, таким образом, война восстанавливает первоначальные условия для истинного взаимного уважения и симпатии между нациями. Так война становится психотерапией для наций (Scheler, 1915а: 100).

То же самое верно и для индивидов; Шелер присоединился к предположению Бинсвангера о том, что невротические молодые люди излечиваются «великим чистильщиком — “войной”» (1915а: 365).

Согласно Шелеру, выгоды войны очевидны для развития техники, науки, искусств и философии. Например, именно война привела к заселению множества частей мира. Более того, изобретение новых видов вооружений стимулировало и направляло развитие технологий: «Оружие предшествовало орудию труда, и почти все высокие технологии, как в исторической перспективе, так и более современные, были созданы в поддержку технологиям войны и фортификаций» (1915а: 46).

Учитывая то, что Шелер считал войну стимулом для интеллектуальных достижений, нас не должен удивлять тот факт, что он игнорировал конфликт между военными и университетскими интересами в отношении распределения ресурсов. Вливание денег в университеты и академии приведет к нежелательным урезаниям военных расходов, и — в любом случае — не ведет к желаемому результату: «За исключением короткого промежутка от Канта до Гербарта в Пруссии, вся европейская философия со времен Декарта... возникла за пределами государственных университетов... Меч и дух образуют прекрасную, достойную пару» (1915а: 141–2). Милитаризм, таким образом, был лучшей гарантией научного прогресса (1916: 171–2).

Удивительно, что Шелер не только защищал немецкий милитаризм, но и пропагандировал новую форму патриотизма, а именно «европейского патриотизма». Суть патриотизма такого рода заключалась в двух следующих чертах. Во-первых, Шелер доказывал, что европейская наука привела к складыванию общего европейского мировоззрения. Это мировоззрение соответствовало «структуре европейской мысли, которая подчиняет всевозможные явления природы и духа возможности активного контроля над ними» (1915а: 276–280). Шелер полагал, что европейское миропонимание было ближе к непосредственному устройству мира, чем какая бы то ни было дру-

гая картина мира (1951а: 283). Во-вторых, Шелер более прямо выразил новый европейский патриотизм в своем эмоциональном воззвании к солдатам на линии фронта:

Патриотизм Европы будет порожден в крови и железе нынешней войны! ... Вы, немецкие солдаты сражающиеся на полях битв, впервые встречающие казаков, индусов, представителей Канады, Ньюфаундленда, Австралии, Новой Зеландии, видящие арабов, персов, турок, японцев, маори и негров, бросающихся камнями... Рассмотрите их хорошенько! Испытайте сочувствие к страданиям живых существ даже в гуще самого ожесточенного сражения! Уважайте благородное страдание человеческого существа во всех ваших врагах — ведь это один из видов животных, от которого был рожден человек! Читите «белого» человека, создавшего европейскую цивилизацию, и относитесь с любовью к французу, англичанину, к поющему и воинственному сербу... И, встретив русского, не забывайте, что он тоже жаждет подчиниться закону Иисуса, Господа нашего...! Такова иерархия чувств, которую вы должны усвоить (1915а: 282).

Шелер полагал, что Германия воевала именно за такое европейское — или скорее «западноевропейское» — мировоззрение. Миссия Германии оставалась «святой» до тех пор, пока Германия защищала западноевропейскую культуру от России (1915а: 340). Однако, участие Германии в войне оправдывалось еще и вовлеченностью в нее Британии: в данном случае это была война против капитализма, буржуазности и ухода от реальности (1915а: 75).

Несмотря на то, что во время войны публичная критика коллег-философов рассматривалась как неприемлемое поведение, восторженное одобрение Шелером войны как матери культуры и всех наук иногда встречало и сопротивление. Гельмут Фалькенфельд, студент Риккерта, приветствовал патриотизм Шелера, но отрицал статус «философии войны», присутствующий в сочинениях Шелера. Особенное негодование Фалькенфельда вызвало высказывание Шелера о том, что такие деятели как Клейст, Гельдерлин, Фихте и Гегель «стали теми, кто они есть, только благодаря войне» (1916–17: 100). Было бы естественным предположить, что и другие публикации различных авторов, отрицавших идею войны как благотворной культурной силы, были косвенной критикой идеи Шелера (например Cohn 1914–15; Mehlis 1914–15).

Подобные публикации кардинальным образом изменили повестку дня немецкой философии. Вопрос о том, каким образом чистая философия относится к естественным наукам и наукам о духе (*Geisteswissenschaften*), перестал быть главным; вместо этого темой публичных лекций и памфлетов стал вопрос о роли Германии в истории, а также смысл войны и страданий. Некоторые ресурсы предшествующих раздоров в академических кругах могли быть использованы для решения новых вопросов: в то время как предшествующую культуру философской мысли нужно было защищать от материализма натуралистической философии, сейчас нужно было защищаться от материалистического, или утилитаристского, духа британцев. И, подобно тому, как ранее немецкий идеализм служил образцом антинатуралистической философии, во время войны можно было прибегнуть к нему для описания общества, в котором общественное благо стояло над благом и правами индивида.

У практикующих экспериментальных психологов и их сторонников было несколько путей проявить свою отвагу во время войны.

Первая стратегия была неотличима от *modus operandi* чистых философов. Некоторые приверженцы экспериментальной психологии, опираясь на свое знание этики или философии истории, заявляли, что Германия обладала моральным превосходством по сравнению с другими нациями. Эта стратегия очевидна из таких книг как, например, «Этика и война» (*Die Ethik und der Krieg* (1915)) Освальда Кюльпе. Защита милитаризма здесь не особенно отличается от аргументации, используемой такими философами как Наторп и Шелер.

Вторая стратегия заключалась в написании патриотической политической речи или памфлета, без каких бы то ни было философских или научных претензий. Явный пример тому – работа Вундта «*ber den wahrhaften Krieg*» [О настоящей войне, 1914b]. Этот памфлет был безыскусной тирадой, направленной против англичан: Великобритания была «главным виновником пожара войны»; она «раздула войну в мировую войну» (1914b: 13); равная вина приписывалась британскому правительству и британскому народу (1914b: 17); оба проявляли «безрассудный эгоизм» в своих действиях (1914b: 22); Британия вела войну «против каждого отдельного немца» (1914b: 29); и она «покинула сообщество цивилизованных стран, по крайней мере, на время войны» (1914b: 29). По причине всех этих обвинений, Британия должна была быть жестоко наказана после того, как Германия одержит победу:

По поводу Британии мы должны будем сказать: «с той страны, которой многое было дано, много и спросится». Принимая во внимание, что это всего лишь небольшое островное государство, у Англии слишком уж много колоний. Она должна будет многим поделиться, если результатом этой войны станет справедливый раздел товаров колониальных культур (Wundt 1914b: 35).

Третьей стратегией было применение *Völkerpsychologie* (этнической психологии) для анализа различий между *Volkseelen* (душами народов) немцев и их врагов. Не удивительно, что Вундт и некоторые из его студентов были в какой-то мере к этому причастны. Задачей исследования Вундта, составившего целую книгу *Die Nationen und ihre Philosophie: Ein Kapitel zum Weltkrieg* [Нации и их философия: глава о войне, 1915], было оценить – “*sine ira et studio*” (1915:5) – «душу народа» (*Volkseele*) французской, английской и немецкой наций соответственно. В этом анализе Вундт полагался на военные песни, типичные формы поведения и доминирующие философские традиции. Последнее оправдывалось известным саркастическим высказыванием Фихте, согласно которому «какова философия, таков и человек» (1915:11); Вундт полагал, что это замечание особенно уместно в применении к нациям. В случае Франции Вундт заявил, что Декарт был единственным достойным философом (1915:23). Современные французские философы-материалисты, однако, характеризовали французскую нацию гораздо более ярко. В глазах Вундта, они пропагандировали философию себялюбия, отлично резонирующую с французским народным характером (*Volk-*

seele): «Моральные рассуждения [французского] народного духа (Volkseele) есть пример замысловатого эгоизма, который, в критический момент, может обратиться в деятельный альтруизм. Но за спиной этого альтруизма витает, как потаенный мотив, потребность пустить пыль в глаза» (1915: 35). Оценка англичан Вундтом была более едкой. Как свидетельствуют философии Гоббса, Локка, Беркли, Юма и Спенсера, англичане склонны к «безрассудному материализму» (1915: 44), и их мышление частенько бывает «неуклюжим, топорным, мелким, неясным... расплывающимся во все стороны, а не глубоким» (1915: 45, 47). Говоря о Юме, Вундт сокрушается по поводу его «психологизма».

Эти замечания были выверены анализом военных песен. Сравнивая такие гимны как «Марсельеза», «Правь, Британия», и «Стража на Рейне», Вундт заявлял, что высшими ценностями для французов были «честь и слава», для англичан «власть и превосходство», а для немцев — «надежность, ... верность и долг» (1915: 125–9). В случае французов Вундт высказывал некоторую симпатию к их предполагаемому уважению к чести, и восхвалял их, например, за умение вести себя в спорах. В то время как немцы склонны к догматизму, французы всегда готовы признать частицу правды во мнении оппонента (1915: 135–7). Британцы же ни в коей мере не заслуживали похвалы за свои привычки в общении. Будучи частью компании, англичанин «предпочитает или не говорить совсем, или, если уж молчание рассматривается как совершенно неподобающее, говорит только о тривиальных и очевидных вещах». Происходит же это потому, что британцы есть «пресытившаяся нация», привыкшая к своему превосходству в мире, и не желающая рисковать (1915: 135–7).

Четвертой стратегией было применение психологического знания к педагогике времен войны. Статья Августа Мессера «Война и школа» («Der Krieg und die Schule» (1914a)) является типичным примером такого жанра письма психологов тех времен. Мессер видел свою задачу в наставлении школьных учителей в том, каким образом можно приспособиться к новым условиям. Прежде всего, Мессер втолковывал учителям представление об их собственной исключительной важности. Обеспокоенный тем, что учителя могут предпочесть роль солдата роли педагога, Мессер писал: «то, что вы делаете как учителя и наставники, не менее важно, чем борьба с оружием в руках». В конце концов, немецкая культура передавалась из поколения в поколение именно в немецких школах (1914a: 529). Более того, Мессер стремился к тому, чтобы учителя выработали «прочную моральную установку» по отношению к войне (1914a: 530). Учителя должны были представлять мировую войну как «необходимый ... инструмент для сохранения абсолютно необходимой моральной ценности-в-себе: немецкой культуры» (1914a: 532). Несмотря на акцентирование необходимости патриотизма и чувства отвращения к врагу, Мессера беспокоила перспектива навредить эмоциональному развитию немецких детей демонстрацией чрезмерной ненависти. Для того, чтобы избежать эмоциональной травмы, учителя должны были следить за тем, чтобы ученики не развивали ненависть к отдельным представителям русской, английской или французской наций, и знали о сопротивлении войне, существующем среди вражеского населения (1914a: 535).

Пятой, и наиболее распространенной, стратегией содействия войне была практика военной психологии. Перед началом войны в этой области делалось совсем немного, и работы таких авторов как капитан Майер (1911, 1912а, 1912б) не особенно волновали научную общественность. Но ситуация быстро изменилась с началом войны. Работа над вопросами военной психологии, или «военных психотехник», оттеснила на задний план многие другие исследовательские проекты. Один известный очевидец отметил в 1918 году: «Если бы кто-то сказал мне до войны, что во время войны в моем институте будут происходить подобные вещи, я бы с недоверием покачал головой» (Stumpf 1918: 273). Многие работы так и не были опубликованы, но источники тех дней приводят длинные списки исследовательских проектов (Stumpf 1918; Rieffert 1922). Экспериментальные психологи разрабатывали, среди прочего, тесты на профпригодность для пилотов и вторых пилотов, водителей военной техники, операторов связи, пулеметчиков, артиллеристов и артиллерийских наводчиков. Они изучали причины авиакатастроф; влияние полетов на больших высотах на психику летчиков; чувство равновесия у летчиков; восприятие направления звука; время реакции у солдат, работающих с радаром; психологические процессы во время перестрелки; психологию прицела и точечной бомбардировки; усталость, возникающую при долгом ношении противогаза; эффективность камуфляжа; психологию солдат с ранениями в голову; повреждения мозга; потерю способностей и их реабилитацию; психологию раненых с ампутацией; воздействие войны на рассудочную деятельность; военные неврозы; психологическое воздействие протезов; симуляцию; реинтеграцию раненых в трудовую деятельность; ветеранов; а также эффективную организацию армии.

Для некоторых авторов даже подобный список не был достаточно длинным. Теодор Цихен видел свою задачу в расширении теста профпригодности с рядовых солдат до высших звеньев командования. В качестве первого шага в этом направлении Цихен опубликовал труд «Psychologie gro er Heerf hrer» [Психология командиров высшего звена, 1916]. В этом исследовании предполагалось определить качества, свойственные хорошему командиру. Цихен сожалел, что он не мог тестировать действующих военных чинов в лаборатории, поскольку «у действующих командиров высшего звена есть более важные дела, чем быть субъектом эксперимента в психологической лаборатории» (1916: 6). С целью преодолеть эту трудность, Цихен предложил два метода: анализ исторических отчетов о характере армейских командиров и привлечение (французских!) исследований, посвященных способностям выдающихся шахматистов.

Некоторые теоретики и практики экспериментальной психологии старались нажить капитал на предполагаемом успехе военной психологии и требовали постоянных должностей психологов в армии. Согласно Францу Янсену (Franz Janssen, 1917), введение подобных должностей было необходимо для тестирования всех новобранцев, а также для того, чтобы разработать тесты на профпригодность для всех военных служб. Янсен особенно беспокоился об интеграции социальной психологии в военную психологию. Только в том случае, если психолог занимает в армии постоянную должность, появляется возможность развития таких дисциплин как

психология лидерства; психология мотивации солдат; понимания того, как оказывать влияние на мелкие и крупные подразделения в полевых условиях, в различных ситуациях, таких как марш-бросок, привал, в траншеях, под ураганным огнем, на карауле; психология атаки, отражения атаки, отступления, и многих других ситуаций (Janssen 1917: 108).

Макс Дессуар в работе «Исследования по психологии войны» (*Kriegspsychologische Betrachtungen* (1916)) желал видеть психолога на фронте, а не в тылу. Солдаты бы приветствовали психолога как специалиста, чья функция в некотором смысле состояла бы в том, чтобы находиться «между священником и врачом... быть тем, кто действительно понимает их». И более того, психология могла помочь выиграть войну, воплощая в действительность распространенное представление: «мы победим, ведь у нас более крепкие нервы» (1916: 3–5).

В качестве последнего пункта следует отметить, что экспериментальный характер немецкой психологии трактовался как еще один повод испытать чувство превосходства над англичанами. Как физиолог-психолог Макс Верворн заявил в своей книге «Биологические основания культурной политики: исследование на тему мировой войны» (*Die biologischen Grundlagen der Kulturpolitik: Eine Betrachtung zum Weltkriege*, 1915), что Германия обладает превосходством над Великобританией поскольку именно Германия способна «мыслить экспериментально». Согласно представлениям Верворна, в Британии «наука» рассматривается как безобидное, даже полусонное времяпрепровождение» (1915: 44). Британские политики не научились рассчитывать результаты своих действий, и, таким образом, не научились должным образом ценить немецкую мудрость, согласно которой «честность — лучшая политика» (1915: 47). Британская политика до сих пор основывалась на ненаучной догме «права она или нет — это моя страна», и действия, основанные на этой максиме, явились причиной данной войны, со всеми ее страданиями: «Эта война есть результат отсутствия экспериментального мышления в высших кругах Англии. Эта война — позор для английского образования» (1915: 55).

Триумф феноменологии: философия и психология в Веймарской республике

Нетрудно понять, что война масштаба Первой мировой должна была привести к примирению академических споров. Менее очевидно, почему после окончания войны немецкие и австрийские философы не вернулись ни к охоте на психологов, ни к дебатам о статусе экспериментальной психологии. На первый взгляд, у философов могли бы быть более чем достаточные основания вернуться к довоенной повестке дня: согласие не было достигнуто ни по поводу определения психологизма; ни по поводу того, кого можно назвать психологистом; ни о том, чьи аргументы против психологизма можно считать существенными; была ли экспериментальная психология философской дисциплиной; а также можно ли (и нужно ли) объединять роли экспериментального психолога и философа. Более того, экспериментальная психология продолжала находиться в ведении факультетов философии до 1940-х годов. И наконец, во времена Веймарской республики время от времени продолжа-

ли появляться статьи или книги, авторы которых заявляли о новых аспектах вопроса о психологизме. Например, многие сочли бы «Учебник логики на позитивистских основаниях» Теодора Цихена (*Lehrbuch der Logik auf positivistischer Grundlage* (1920)) относящимся к течению психологизма. Цихен защищал Зигварта, Вундта, Эрдмана и Липпса (1920: 205) — но работа осталась незамеченной. Публикация работы Вилли Муга «Логика, психология и психологизм» (*Logik, Psychologie und Psychologismus*) не только содержала прекрасный обзор мнений за и против Гуссерля, но также претендовала на поимку многих других философов с поличным. Опять же, к большому неудовольствию Муга, никаких протестов не последовало. Несмотря на появление редких положительных отзывов (*Morgenstern* 1920–21; *Endri* 1921), работа Муга осталась за пределами внимания широких философских кругов, и Мугу ничего не оставалось кроме занятий историей идей. Последним, но не менее важным, примером остаются предложения о компромиссе между чистой логикой и психологической логикой (каждое объемом с книгу), предоставленные Полем Гофманом (1921) и Мартином Хонекером (1921). В работе Гофмана «Анатомия проблемы значимости» (*Die Anatomie im Problem der Gltigkeit*) защищается мнение о том, что точка зрения как Эрдмана, так и Гуссерля в равной степени имеет право на существование. Структура человеческого сознания одновременно вынуждает нас предположить, что законы логики зависят от человеческого организма, но в то же время и верить в то, что они существуют вне пространства и времени.

Сложной и интересной задачей было бы, таким образом, объяснить почему все-таки так и не произошел возврат к довоенной повестке дня, и почему академическая общественность стала рассматривать Гуссерля и феноменологию как правильную точку зрения на психологизм и на отношения между философией и психологией. Для того, чтобы объяснить эти факты, нам нужно начать с общего настроения и менталитета Веймарской культуры.

Веймарская ментальность

Для историков немецкой философии и науки двадцатого века не будет неожиданным мое обращение к теме антинаучной ментальности Веймарской культуры, которую можно рассматривать как одну из причин смены повестки дня. В конце концов, именно менталитет представителей немецкого академического сообщества в Веймарскую эпоху играет основную роль в двух классических примерах из истории науки. Франц К. Рингер рассматривает этот феномен в своей книге об упадке социального и политического влияния немецкой университетской профессуры в период между 1890 и 1933 годами (*Ringer* 1969); Поль Форман подчеркивает важность этого феномена для понимания заинтересованности немецких физиков в создании и развитии не-каузальной механики (*Forman* 1971).

Еще до войны многие ведущие интеллектуалы неоднократно выражали скептицизм по поводу современного состояния мира. Обыкновенно их сомнения выражались в форме оппозиции «культура против цивилизации». Признавая, что технический прогресс делал жизнь более комфортабельной для большинства населения, «немецкие мандарины» в то же время высказывали

мнение, что подобные улучшения по мере развития цивилизации не ведут к прогрессу моральных и духовных ценностей. Многие из них, действительно, придерживались той точки зрения, что культура, включающая философию, искусство, религию и мораль, неизбежно будет клониться к закату по мере развития технологий, массового производства, демократизации и секуляризации. Им представлялось неизбежным, что улучшение «внешнего» качества жизни приведет к упадку «высших ценностей» в их немецком понимании. В значительной мере энтузиазм представителей немецкого академического сообщества по поводу войны обуславливался их верой в то, что война принесет радикальные изменения. Многие с самого начала признавали за войной опыт очищения, опыт, через который и в котором Германия откроет заново свою культуру и признает бесплодность и поверхность современного технологизированного мира.

Поражение Германии поколебало эти ожидания и усилило влияние теорий декаданса и упадка. Чувства беспомощности, бессилия и пессимизма усиливались в силу тех бедственных условий жизни, в которых оказалось академическое сообщество времен Веймарской республики. Накопления унесла инфляция, большинство университетских преподавателей жили в бедности, поездки стали непозволительной роскошью, и даже у библиотек не было средств на покупку самых необходимых учебников и журналов. В 1923 году, на пике инфляции, университет Фрайбурга уволил 35 процентов преподавательского состава. В то же самое время, однако, необычайно возросло число студентов. Количество студентов в немецких университетах увеличилось с 61 000 в 1914 году до 72 000 в 1918 году, и до 112 000 в 1923 году. Совершенно очевидно, что студенты страдали даже в большей мере, чем их преподаватели, тогда как перспективы их дальнейшей карьеры были и того хуже. Понятие «академический пролетариат» было не только широко распространенным, но и адекватно описывало ситуацию данного периода (Ringer 1969: 52–75).

Принимая во внимание данные условия, вполне естественным было укоренение в повседневной речи таких слов как «упадок», «кризис» и «отчуждение». Разговоры о кризисе быстро обернулись против техники и науки. «Неоромантическая, экзистенциалистская “философия жизни”» — используя терминологию Формана — стала модой времени, и «ученый стал мальчиком для битья в непрекращающихся проповедях о духовном обновлении, в то время как концепция — и даже само слово — “причинность” символизировало все то, что было ненавистным в науке» (Forman 1971: 4). Науку обвиняли в «разрушении душ», в современном «мировом кризисе» и возлагали на нее ответственность за «всю интеллектуальную и материальную нужду, пришедшую вместе с кризисом» (Max von der Laue, цит. по Forman 1971: 11). О науке говорилось как о дороге к «предельной интеллектуализации», к «разрушению иллюзий о мире» и «удушающему детерминизму» (Ernst Troeltsch, цитата из Forman 1971: 17). Многие из подобных чувств были с особой силой выражены в «Закате Европы» Освальда Шпенглера (Untergang des Abendlandes, 1918), книге, 100 000 экземпляров которой было продано к 1926 году. Для Шпенглера Kausalit tsprinzip — принцип причинности — науки являлся главным ингредиентом западного «Фаустовского» мироощущения. Западная культура шла по пути саморазрушения (Forman 1971: 31–7). Встречая подоб-

ные нападки, ученые должны были сделать выбор: сопротивляться или приспособливаться. Выбор пути сопротивления означал защиту науки и, помимо прочего, борьбу с иррационализмом, мистицизмом, оккультизмом, спиритуализмом и теософией. Этот путь выбрали, например, Макс Планк и Арнольд Зоммерфельд. Более же распространенной реакцией на антинаучный климат со стороны ученых стала стратегия приспособления. Сторонники этой линии поведения приняли основные обвинения, они заявляли, что их дисциплина находится в состоянии кризиса, и старались пересмотреть свои суждения в свете идей Шпенглера и других сторонников *Lebensphilosophie* (философии жизни). Приспособление означало отказ от принципа причинности, атомизма и технологических подходов и, с другой стороны, превознесение ценности интуиции, холизма и общественных интересов. К 1929 году эта идеология даже нашла дорогу во вступление к «Учебнику физики» (*Handbuch der Physik*). А Рихард фон Мизес заявил в своем выступлении в 1920 году, что «эра техники» находится на исходе, и что физики стремятся «к новому пониманию мира». Физики опять возвращались «к старым вопросам алхимиков... гармонии чисел, загадкам числа, напоминающая если не Пифагорейцев, то каббалистов». Фон Мизес даже согласился со Шпенглером в том, что западная культура окончательно пришла в упадок, и сомневался в том, что новые поколения «продолжат заниматься точными науками так, как это делали мы» (Forman 1971: 51).

Физики не были одиноки, принимая на себя основные обвинения и заявляя о кризисе своей дисциплины. «Кризис» стал основной мерой успеха и в других исследовательских областях; в одном из ключевых текстов того времени — «Бытии и времени» Мартина Хайдеггера — этот критерий был сформулирован уже совершенно недвусмысленно: «Ценность науки зависит от того, до какой степени эта наука способна преодолеть кризис своих фундаментальных положений» (1927: 9). Таким образом, нет ничего удивительного в том, что кризис быстро распространился во все области науки. Положение в физике и математике описаны в небольшой классической работе Формана, а Рингер призывает нас обратить внимание на некоторые ключевые тексты в области медицины, лингвистики и экономики (Ringer 1969: 385–7).

От Lebensphilosophie к феноменологии

Как Рингер, так и Форман называют философа Освальда Шпенглера единственной центральной философской фигурой Веймарской Германии. Принимая во внимание задачи их исследований, такое упрощение является вполне допустимым. Шпенглеровская формулировка теории упадка была наиболее известна и вызывала наибольшее число нападок. Для нашего же исследования метод Рингера и Формана не подходит. Нетрудно увидеть почему: Шпенглер был *Privatgelehrter* — частным ученым, который не занимал никакой академической должности и не имел влияния на университетскую политику. Несмотря на то, что он оказал несомненное интеллектуальное влияние на целое поколение немецких интеллектуалов, Шпенглер никогда не занимал никакой должности в академических структурах.

Если мы хотим понять изменения в академической философии во времена Веймарской республики, нам нужно выйти за пределы влияния Шпенгле-

ра. Мы стремимся понять, каким образом феноменология приобрела, по крайней мере в академических кругах, образ, по своим темам и декларациям во многом схожий с тем, что был представлен общественному вниманию в книге Шпенглера. Именно здесь кроется ключ к успеху феноменологии в Веймарской республике, и здесь мы найдем объяснение тому, почему взгляды Гуссерля на психологизм и экспериментальную психологию вошли в наши учебники и истории философии. <...>⁴

Успех феноменологии

Показав, что ни неокантианская философия, ни научная философия в эпоху Веймарской республики не приобрели последователей, я перехожу к объяснению того, как феноменология приобрела положение доминирующей философии. Триумф феноменологии стал возможен потому, что Шелер и Хайдеггер — уже до войны и во время войны заявившие о своей принадлежности к феноменологии — преуспели в представлении своих мыслей как единственно возможного ответа со стороны академической философии Шпенглеру, и как единственно возможную философию жизни.

Собственная позиция Гуссерля в отношении философии жизни была, в лучшем случае, амбивалентна. Как Риккерт и Шлик, он был готов поклоняться модным богам. Например, в 1925 году Гуссерль написал предисловие к немецкому изданию речей Будды Гаутамы. В этом коротком тексте Гуссерль говорит о «дегенеративной культуре» настоящего и необходимости «ментальной чистоты и искренности» и «преодоления мирского». Он также надеялся на «новый тип человеческой “святости”... [которая бы] пробудила новые силы религиозной интуиции и... способствовала бы углублению христианской интуиции» (1925: 125–6). Несмотря на это, Гуссерль атаковал Шпенглера с кафедры (Kraft 1973: 89), и в серии публичных лекций в 1931 году он охарактеризовал работы Хайдеггера и Шелера как «антропологизм и психологизм» и как «абберации, которые даже не достигают истинных философских измерений» (1931: 164; 179).

Шелер также дал не особенно восторженную оценку работам Гуссерля. Шелер назвал трансцендентальную феноменологию Гуссерля «забавным по-

⁴ В опущенной здесь части автор рассматривает основные компоненты философии жизни как нового «стиля мышления» о полноте жизненного опыта и анализирует работы ее основоположников. К числу последних относятся Ясперс, Шелер, Шпенглер, а также Хайдеггер. Куш обобщает идеи программной работы Шелера «Подходы к философии жизни: Ницше, Дильтей, Бергсон» ([1915b] 1972), в которой тот анализирует произведения «пророков новой философии жизни»; книгу Освальда Шпенглера «Закат Европы» (1918); и труд Карла Ясперса «Психология мировоззрений» (1919). Куш объясняет успех философии жизни в Веймарской республике главным образом неслыханной популярностью книги Шпенглера, выдержавшей множество изданий, а также академическим признанием и распространением идей Ясперса и Шелера. Куш анализирует упадок неокантианской философии и рост популярности в академической среде феноменологии, трактуя последнюю как привлекательный для университетских кругов вариант «философии жизни». Согласно Кушу, неокантианцы не смогли противостоять критике, исходящей от Шелера, Шпенглера и Ясперса, не только в силу общей враждебности к рационалистическим идеям и доминирующего авторитета Гуссерля, но и вследствие смерти некоторых из многообещающих неокантианцев, а также в силу снижения численности студентов, не удовлетворенных карьерными перспективами. — *Прим. перев.*

воротом», «главным препятствием для конструирования метафизики на основе теории сущностей», и частичным возвращением к Беркли, Канту и Наторпу (Scheler 1922: 311).

В свете вышеприведенных цитат, нам нужно найти объяснение тому, почему Шелер и Хайдеггер вообще называли себя «феноменологами», и как понятие «феноменология» могло охватить столь различные проекты, как проекты Гуссерля, Шелера и Хайдеггера. Мы также можем спросить, каким образом случилось так, что Гуссерль, и только Гуссерль, стал фигурой, которую связывают с опровержением психологизма. При ответе на этот вопрос я сосредоточусь на фигуре Шелера.

Шелер был ключевой фигурой в феноменологии во времена Веймарской республики, и его оценка истории философии в Германии между 1900 и 1920 годами стала общепринятым взглядом на этот период (например, см. Schnedelbach 1984). Как я упомянул ранее, Шелер был студентом Рудольфа Ойкена, неохиттеанского философа в Иене. Многие из предвоенных работ Ойкена затрагивали темы и вопросы, которые задним числом могут быть названы предшествующими философии жизни (например, Eucken 1896). Шелер написал как свою докторскую, так и профессорскую диссертации под руководством Ойкена. Профессорская диссертация Шелера по теме «Трансцендентальный и психологический метод» (*Die transcendente und die psychologische Methode*) была опубликована вскоре после публикации «Пролегомен» Гуссерля в 1901 г. В этой работе Шелер выступил против психологизма, который означал для него «утверждение, что философские дисциплины в особенности составляют часть психологии» (1901: 320). Выступая против натурализации значения и логики, Шелер критиковал «трансцендентальный метод» Канта и неокантианцев. Согласно Шелеру, трансцендентальный метод привел к двоякому результату: предложениям, которые могут быть опровергнуты опытом, и предложениям, которые не могут быть опровергнуты опытом. Согласно Шелеру, все предложения первой группы оказались ложными; в то время как предложения второй группы оказались пустыми и бесплодными (1901: 285).

Довольно естественно предположить, что враждебная установка Шелера по отношению к неокантианцам и натуралистической философии привела его к мысли взять феноменологию в союзники. Дополнительным стимулом к заключению союза с Гуссерлем был его католицизм. Католическая философия и немецкий идеализм обычно воспринимались как непримиримые системы мировоззрений, и кантианская философия часто противопоставлялась философии Фомы Аквинского (Eucken 1901). Феноменология же основывалась на схоластике. Как бы то ни было, в первой декаде 20-го века Шелер стал называть себя феноменологом и перенял центральные идеи из «Логических исследований» Гуссерля. Для Шелера феноменология была поиском сущностей, поиском, основанным скорее на *Wessensschau* или «эйдетической интуиции», а не на трансцендентально-редуктивной, «конструктивисткой» аргументации.

Шелер был фигурой номер один в процессековки крепкого звена, соединяющего «интуицию» бергсониянского типа и «эйдетическую интуицию» Гуссерля (как в «Логических исследованиях»). Ранее я процитировал несколько ключевых пассажей из популярной статьи Шелера «Подходы к философии жизни: Ницше – Дильтей – Бергсон» (*Versuche zu einer Philosophie*

des Lebens: Nietzsche – Dilthey – Bergson [1915b]). Эта статья показывает, что для Шелера феноменология была неотъемлемой частью философии жизни.

Мы вполне можем усомниться в том, насколько успешен был Гуссерль в попытках убедить большинство немецких читателей в подобного рода связи между феноменологией и философией жизни. Для установления характера этой связи особенно удачно подходила позиция Шелера. Он был одновременно и самопровозглашенным феноменологом, и одним из самых плодотворных сторонников философии жизни. Работы военных лет завоевали ему значительную известность, и, к тому же, он был превосходным лектором и вызывающей восхищение – «демонической» – фигурой (Gadamer 1977: 71). На протяжении 20-х годов двадцатого века влияние Шелера среди послевоенных студентов философии и некоторых из их наставников неуклонно росло. Действительно, согласно нескольким источникам того времени, Шелер был самым влиятельным философом Веймарской Германии перед неожиданным подъемом Хайдеггера.

В употреблении Шелера «феноменология» была синонимична «Sachphilosophie» (Scheler [1922] 1973). «Sache» и «Sachlichkeit» были особенно модными словечками в Веймарской Германии. В английском языке не находится эквивалента ни одному из этих терминов. В зависимости от контекста, «Sache» может переводиться как «вещь», «объект», «материя», «проблема», «факт», а «Sachlichkeit» обычно означает «фактичность», «функциональность» или «объективность». В Веймарский период изучать «Sachen» означало исследовать «реальные вещи» и «реальные проблемы»; это выражение означало неприятие искусственно созданных (философских) псевдопроблем; оно предполагало восстановление контакта с реальным миром через видение последнего с непредвзятой позиции; оно было эквивалентно отрицанию излишних украшений и усложнений; и оно также демонстрировало предпочтение в пользу «видения», а не «конструирования». Принимая во внимание вышеперечисленные коннотации и смысловые связи, легко понять, каким образом восклицание «Zu den Sachen selbst!» [«к самим вещам»] может резюмировать устремления той эпохи.

Шелер достиг успеха в убеждении своих читателей и слушателей в том, что феноменологическая «Sachphilosophie» составляла контраст с «традиционными философиями позиций и школ». Предположительно, для этих самых школ философские размышления проистекали не из Sachen («вещей»), но из текстов знаменитых философов прошлого. Этот подход привел к «окаменению школ, их отчуждению от интуиции и реальности, а также к тайной и запутанной терминологии» ([1922] 1973: 265). Другими словами, «они точат ножи, которыми никогда ничего режут» ([1922] 1973: 266). Для Шелера неокантианская философия была самым ярким примером философии точки зрения: она использовала особенный тайный язык, она ограничивала себя эпистемологией и методологией ([1922] 1973: 266), и размышляла о науках, но не о самих вещах ([1922] 1973: 269). Шелер высказывался особенно едко о Марбургской школе и школах юго-западной Германии. Scientificismus [sic] Марбургской школы был вне всякого сравнения, и исторические труды Кассирера были «попыткой изнасиловать историю» ([1922] 1973: 287). Попытки Виндельбанда и Риккерта разграничить Naturwissenschaften и Geisteswissenschaften были

«лишены всяких философских оснований» ([1922] 1973: 287), и их работы в целом стояли «гораздо ниже» даже по сравнению с работами Марбургской школы. Философия Виндельбанда и Риккерта состояла только «из некоторых чрезвычайно бедных и плоских простых идей», и, таким образом, «должны скорее рассматриваться как вопрос для психологии культуры о том, каким образом эти наиболее бессодержательные из всех немецких кантовских школ получили широкое распространение в нашей стране». Шелер подозревал, что философия подобного толка требовала «очень незначительных усилий мысли», и просил читателя сравнить его оценку философии юго-запада Германии с недоброжелательными комментариями Виндельбанда по поводу экспериментальной психологии ([1922] 1973: 290).

Феноменология отличалась от неокантианской философии не только тем, что она была «Sachphilosophie». Особенность феноменологии состояла в том, что она была свободна от смирительной рубашки, которая называлась «единством школы». Шелер допускал, что все феноменологи до определенной степени черпали вдохновение в работах Гуссерля, но он отрицал, что это влияние распространялось далее, чем общая «философская установка... новая *techné* видения сознания» ([1922] 1973: 309). Поскольку всем феноменологам была присуща только эта общая установка, то феноменология позволяла своим приверженцам придерживаться различных *Weltanschauungen*, религиозных убеждений, разнообразия более или менее систематических подходов и изменчивых трансцендентальных и психологических методов ([1922] 1973: 311).

Описание феноменологии в этих расплывчатых терминах имело два основных преимущества. С одной стороны, оно позволяло Шелеру использовать ярлык феноменологии для выражения своих собственных мыслей — и таким образом подчеркивать преемственность своих собственных работ — без необходимости представляться учеником или последователем Гуссерля. С другой стороны, расплывчатое определение служило приглашением каждому, кто стремился соприкоснуться с новым мышлением, назвать собственную работу «феноменологической». Другими словами, Шелер предлагал рай по дешевке: чтобы назваться феноменологом (и таким образом избежать словесных оскорблений, которые можно было частенько увидеть в работах Шпенглера), все, что было необходимо, так это выразить расплывчатую приверженность *Sachen* и интуиции. Это было предложением, от которого не многие были способны отказаться.

Трактовка новейшей истории философии, данная Шелером, была не менее успешной, чем его приглашение принять название «феноменология». Согласно Шелеру, *Sachphilosophie* началась с феноменологии, и начало феноменологии можно датировать началом двадцатого века. Работа Гуссерля «Логические исследования», где он опроверг психологизм, отметила начало новой эры. ([1922] 1973: 266). Это историческое утверждение было мотивировано стремлением к нескольким целям.

Во-первых, оно принизило ценность работ неокантианских «конкурентов» Гуссерля и Шелера. Шелер представлял дело следующим образом: неокантианские школы уже некоторое время находились в «неминуемом упадке», и все еще были заметны только по причине «закона исторической инерции» ([1922] 1973: 279). Приписывание феноменологии одной из наиболее

горячо оспариваемых побед в новейшей истории философии делалось исключительно для того, чтобы усилить успех Гуссерля в опровержении психологизма. Нет необходимости напоминать, что другие школы выдвигали на это звание имена своих собственных героев (Фауст (1927) для Риккерта, и Кассирер (1925а) для Наторпа). Но в процессе роста феноменологии как наиболее влиятельной философии Веймарского периода, ее последователи приняли историю, предложенную Гуссерлем и Шелером, а не Кассирером.

Во-вторых, поместить начало новой *Sachphilosophie* в 1900 год означало также принизить значимость претензий Шпенглера на инновацию. Несмотря на все презрение, которым Шелер оказывал Риккерта и других неокантианцев, он соглашался с ними по крайней мере в их отрицании Шпенглера. Мышление Шпенглера «противостоит любой серьезной философии нашего времени», и есть не что иное, как «последний отзвук романтического историзма» ([1922] 1973: 324).

В-третьих, восхваление Шелером работы Гуссерля, написанной в 1900, было способом принизить последующие работы Гуссерля, т.е. это был способ воздвигнуть Гуссерлю монумент в прошлом – и только в прошлом. Выше я уже процитировал критический отзыв Шелера о трансцендентальной феноменологии Гуссерля, и то, что возобновление атак Гуссерлем на психологизм в его «Формальной и трансцендентальной логике» (1929) осталось незамеченным. Как Шелер напомнил читателям в 1922 году, «так называемый “психологизм”, когда-то казавшийся угрозой психологии, сегодня в основном преодолен» ([1922] 1973: 303).

В-четвертых, объявляя угрозу психологизма оставшейся в далеком прошлом, Шелер получал дополнительное преимущество – возможность свободно выражать свой собственный интерес в современных ему психологических исследованиях. Шелер в особенности приветствовал Вюрцбургскую школу, Шпрангера, Ясперса и приверженцев гештальт-теории ([1922] 1973: 303).

Пятым, и последним, является всеобщее согласие по поводу того, что аргументы Гуссерля против психологизма были достаточно весомы, что помогло Шелеру в продвижении его собственной версии социологии знания (Scheler [1924] 1980). Шелер утверждал, что социальные факторы определяют то, какие именно части и аспекты мира «чистого» смысла становятся познаваемыми. Любое более сильное заявление, т. е. например, что рассудок и восприятие могут быть сформированы социальным положением, означало вызвать обвинения в «социологизме (противоположности психологизма)» ([1924] 1980: 58). Версиями социологизма, например, являлись «конвенционализм» Пуанкаре, «позитивистский “социологизм”» Дюркгейма, и «технизм» Маркса ([1924] 1980: 62, 115).⁵

Шелер преуспел в своих попытках перевести интерес от философии жизни на феноменологию. Феноменология в тот период стала единственной философией. Действительно, ее успех был признан даже самыми строгими критиками. Например, в 1925 году неотомист Герберт Бюргерт пишет:

⁵ Осуждение Шелером «социологизма» перепечатывалось и пересказывалось начиная с 1920 года (Grunwald [1934] 1982; Mannheim 1931; Spranger 1930).

Гуссерль сравнил себя с величайшими мыслителями прошлого... Он — мессия, после вековых поисков и жажды познания возвестивший истину... Появились сонмы фанатичных последователей, число обратившихся растет, и неверных не просто жалеют, как слепцов, но клеймят и презирают как жалких мошенников (Burgert 1925: 226).

Однако, в конце статьи Бюргерт добавляет:

Но давайте не будем забывать о благе, которое принес Гуссерль. Это благо — защита свободной от теоретизирования *Wesensschau*, от кантианских конструкций, борьба против «заточки ножей», по замечанию Лотце, т.е. сведения философского знания к логике и эпистемологии (1925: 230).

Более того, в объемной критике Гуссерля и феноменологии студент Риккерта Август Фауст написал в 1927 году, что «слово «феноменология» стало слоганом; оно служит кодовым названием для вырождающихся форм, и что даже хорошая вещь может породить подобное отношение, если она войдет в моду» (1927: 26). Фауст также огорчился по поводу того, что слоган «*zu den Sachen selbst*» был сформулирован таким образом, чтобы напоминать слоган «*neue Sachlichkeit*», «последний лозунг европейской живописи» (1927: 28). А в 1932 году два критика отметили, что «не может быть сомнения в том, что слово «феноменология» стало раздутой концепцией» (Shemann 1932: 1), и что

было бы совершенно оправданным утверждать, что с появлением «Логических исследований» Гуссерля в 1900 году ... началась новая фаза в немецкой философии ... С этого момента, слово «феноменологический» стало выражением новой ментальной установки для любой философии нашего времени (Schingnitz 1932: vii).

Нет необходимости говорить о том, что менее придирчивые критики раздавали Гуссерлю и Шелеру еще более щедрые похвалы.

Последним, но не менее важным, моментом является успех интерпретации истории немецкой философии первых двух десятилетий двадцатого века, данной Шелером. В одном из недавних исторических исследований говорится, что Гуссерль и Фреге «были относительно изолированы в своих кампаниях против [логического психологизма]», и что «Эдмунд Гуссерль... является великой фигурой... с которой были связаны работы Макса Шелера и Мартина Хайдеггера в окончательном подавлении психологизма» (Schmidelbach 1984: 99). Очевидно, что подобные оценки являются чертой традиции исторического подхода к немецкой философии, основанной Шелером в 1920 году.

Каким образом психология перестала быть угрозой

До сих пор мы придерживались следующего аргумента: философские дебаты по поводу психологизма были вызваны противостоянием чистых философов экспериментальной психологии. Если эта идея верна, тогда — *ceteris paribus* — общее снижение интереса к психологизму должно было сопровождаться меньшим беспокойством чистых философов по отношению к экспериментальной психологии.

Реальная ситуация в Веймарский период была именно такова. Несмотря на то, что периодически некоторых мыслителей клеймили как «психологистов», по большому счету охота на психологизм не была возобновлена после

войны в предвоенных масштабах (см. рис. 1). В то же самое время, атаки на экспериментальную психологию закончились. Экспериментальная психология более не воспринималась как угроза. Далее я перехожу к объяснению, почему это было именно так.

Конец экспансии на факультетах философии

Во времена Веймарской республики, теоретикам и практикам экспериментальной психологии не удалось увеличить, или даже сохранить на прежнем уровне, долю профессорских кресел на факультетах философии. В то время

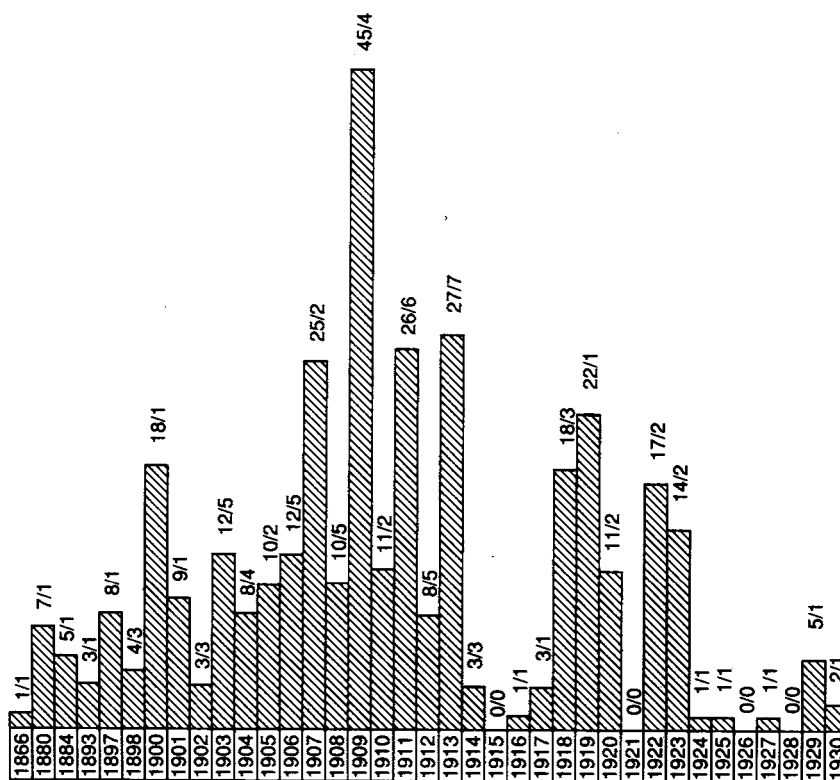


Рис 1. Количество авторов, обвиненных в «психологизме», по годам / количество работ, в которых присутствует подобное обвинение, по годам.

как престижные должности в Бонне и Вроцлаве были заняты философами, экспериментаторам не удалось занять ни одно из вакантных мест (Geuter 1986). К 1930 году разочарование психологов достигло такой степени, что они скопировали метод своих бывших врагов и отправили петицию всем министрам образования. В петиции заявлялось, что «философия, педагогика и психология должны быть представлены в каждом немецком университете отдельной профессорской должностью» (Erklärung 1931).

Новые позиции лекторов и профессоров психологии были введены в 1920-е годы, но практически исключительно в прикладной психологии. К 1931 году было шесть должностей, именованных «полный профессор психологии», но большинство из них принадлежали техническим университетам (Technische Hochschulen) и коммерческим академиям (Ash 1980a: 282). Между 1918 и 1928 годами, девять технических университетов ввели курсы «психотехники»⁶ и психологии образования (Dorsch 1963; Geuter 1986).

Развитие институтов шло бок о бок с переориентацией исследовательской деятельности. Все большее число психологов переходило в прикладную психологию. Рост прикладной психологии быстро отразился на числе публикаций. В 1925 году количество серийных публикаций по прикладной психологии в два раза превысило число публикаций по общей, или «чистой» психологии (см. рис. 2). Изменения по отношению к предвоенному периоду можно также увидеть по темам, которыми занимались психологи. Например, Карл Марбе, студент Вундта и Кюльпе, в первом десятилетии двадцатого века выполнил важные исследования по психологии мыслительной деятель-

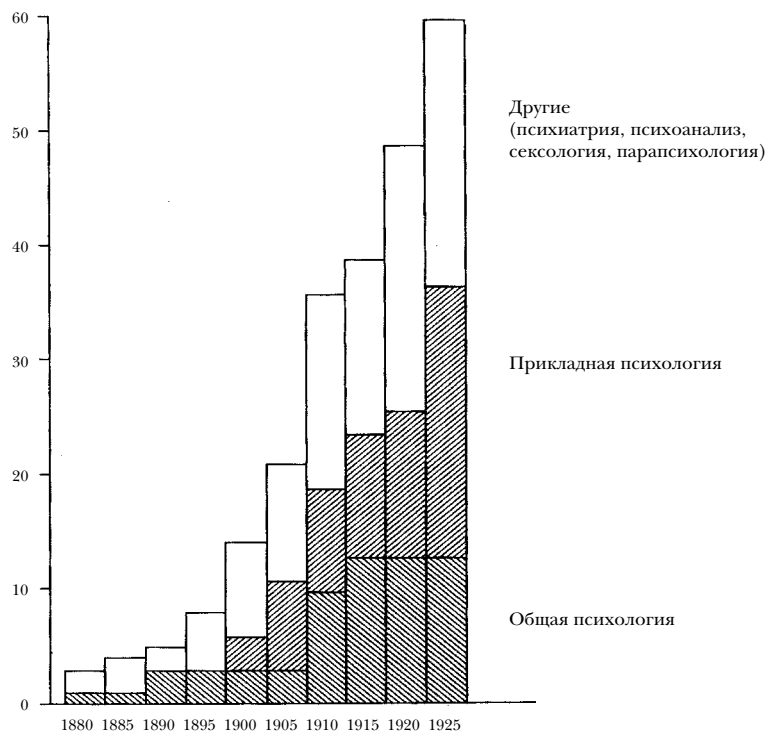


Рис. 2. Количество серийных работ по психологии, опубликованных в Германии, 1880–1925.

Источник: Основано на данных Osier and Wozniak (1984).

⁶ Мюнстерберг дал определение психотехники как «практическое применение психологии к задачам, поставленным культурой» (1914: 10). В 1910 году Мюнстерберг был первым лектором в Германии, читавшим лекции по прикладной психологии (Munsterberg 1912).

ности, но в Веймарский период он работал в психологии рекламы, судебной психологии, психологии несчастных случаев, а также тестов на профпригодность для машинистов поездов, страховых агентов, тюремных охранников, зубных врачей и хирургов (Marbe 1961). В 1922 году Марбе произнес речь в «Обществе экспериментальной психологии». Марбе предположил, что психология должна подчеркивать свою практическую значимость, и утверждал, что «участие психологов будет благосклонно воспринято правительствами, в виду усиления спроса на пригодных к практической деятельности специалистов-психологов» (1922: 150). Как свидетельствует рост числа должностей в технических университетах, Марбе верно интерпретировал настроение правящих кругов. Действительно, политики проявляли интерес к прикладной психологии еще до войны. Например, открывая конгресс по экспериментальной психологии в 1912 году в Берлине, мэр города просил аудиторию предоставить «основательные психологические отчеты, в особенности о положении в судах, медицине и образовании» (Goldschmidt 1912: 97).

Подобная реорганизация экспериментальной психологии означала поражение взглядов на профессию психолога, пропагандировавшихся Вундтом. Согласно Вундту, психологу требовалось основательное знание принципов философии: «Наиболее существенные вопросы психологического образования настолько тесно связаны с вопросами эпистемологии и метафизики, что совершенно невозможно представить, каким образом они могут исчезнуть из предмета психологии» (1913: 24). Практический психолог же в своей деятельности не нуждался в «эпистемологических и метафизических вопросах». Вундт неоднократно оспаривал «американизацию» немецкой психологии, причем на самых ранних стадиях реорганизации. В 1903 году он прекратил поддержку работы своего студента Эрнста Мойманна по той причине, что «в главах, доступных на сегодняшний день, 873 страницы посвящены образованию, но только 715 страниц – остальным разделам психологии» (Bringmann и Ungerer 1980a: 70). А в статье, опубликованной в 1910 году, «О чистой и прикладной психологии» (*Über reine und angewandte Psychologie*), Вундт предсказал, что рост психологии образования превратит «чистую психологию» в «прикладную педагогику» (1910c). Несмотря на то, что предсказание Вундта не исполнилось в этой пугающей форме, очевидно, что психологи, занимавшиеся рекламой и тестами на профпригодность, не были сильны в эпистемологии, логике или эстетике. Следовательно, ничего удивительного нет в том, что когда психологи направили правительству в 1930 году петицию с просьбой увеличить количество профессорских должностей, они открыто признавали, что такие широкие области знания как психология и философия не могут преподаваться одним и тем же человеком (Erklärung 1931).

Разговоры о кризисе

Ясно, что антинаучные настроения Веймарской республики были разрушительны для психологии, смоделированной по образцу естественных наук. Реакция защитников и практиков психологии на данное враждебное окружение напоминает реакцию физиков и математиков, изученную Форманом (1971). Первой, и очевидной, стратегией было объявить, что дисциплина переживает кризис. Психологи в значительной мере полагались на эту стра-

тегию, но не могли прийти к согласию о том, в чем заключался данный кризис и каким образом с ним справиться.

В данном отношении, разговоры о кризисе в Веймарский период следовали ранее установленной схеме. В конце девятнадцатого века философы распознали серьезные, но различные симптомы кризисной ситуации. Например, Р. Вилли, последователь Авенариуса и Маха проанализировал «Кризис психологии» в 1987 году в статье, состоящей из трех частей, а неотомист Г. Гутберлет в последующем году предложил свою версию (Gutberlet 1898). По словам Вилли, причиной кризиса послужил чрезмерный метафизический балласт, в то время как с точки зрения Гутберлета это случилось вследствие недостатка метафизических предпосылок.

Психологи также считали, что их дисциплина находится в кризисе и под угрозой вследствие нападок со стороны чистых философов. В своих записях, сделанных в 1915 году, Феликс Крюгер (1915) выдвигал предположение, согласно которому, современный кризис психологии возник в силу неуважения к экспериментальной психологии. Это отношение чистые философы возвели в ранг «модной установки»: «Эта модная установка презрения к экспериментальной психологии часто проявляется в комической манере: например, начинающие исследователи в некоторых областях философии сознания или культуроведении уверяют нас, что они исследуют эти психические миры с точки зрения самых различных перспектив, проблемно-исторической, объективно-теоретической, ценностно-структурно-философской, и, конечно же, феноменологической, но не психологической. В особенности все связи с экспериментальной психологией отвергаются как постыдные» (1915: 25).

Многие авторы Веймарского периода соглашались с этим мнением. Некоторые, однако, находили причины кризиса в другом. Например, философ Йонас Кон охарактеризовал психологию, как дисциплину, находящуюся в «глубоком кризисе» в силу существования «пропасти между “точными” работами экспериментаторов и “эмпатической”, “интерпретационистской” психологией, практикуемой историками, психологами образования и поэтами» (1923—24: 51). Подобной точки зрения придерживался и Эдуард Шпрангер, который говорил о «фазе наиболее сильных потрясений для основ психологии». Шпрангер опасался, что данная фаза приведет к развитию двух независимых видов психологии: объяснительной психологии и описательной психологии (1926: 172). В 1926 году Карл Бюлер написал: «сегодня уже из газет можно узнать, что психология находится в кризисе. И те, кто пишет подобное, скорее всего правы, даже если ни один из них не имеет в виду то же самое, что другой. Часто можно прочитать общие заявления о том, что натуралистическая, сенсуалистская, механистическая, атомистская концепция умственной деятельности потерпела неудачу, и что не существует объединяющего подхода, который мог бы занять это место» (1926: 455). Бюлер принял эту оценку ситуации, но он добавил еще несколько объяснительных причин текущему кризису. Таковыми были заявления Шпрангера и бихевиоризм. Как виделось Бюлеру, именно бихевиоризм «заострил кризис психологии» (1926: 459).

Психологи, конечно же, знали, что подобные разговоры о кризисе были вполне в духе времени (*Zeitgeist*). Например, в 1926 году Эрих Йенш при-

нал, что «разговоры о кризисе психологии, кризисе, который в особенности чувствуется в Германии» были не бесосновательными. Но, как добавил Йенш, заявления о кризисе возникли главным образом благодаря «распространенному тону и манере высказываний нашего времени» (1927: 92).

Феноменология и экспериментальная психология

В то время как принятие психологами разговоров о кризисе указывает на то, что они реагировали на враждебную обстановку приспособившись к ней, данные рассуждения ничего не говорят об изменениях, которые происходили в самих психологических исследованиях. Они также не объясняют, почему теоретическая, не прикладная психология, перестала быть угрозой для чистой философии. Однако, этому несложно найти объяснение. Веймарская психология не представляла угрозы поскольку она присоединилась к чистой психологии и предвоенным идеям о чистой, философской психологии.

Данная переориентация, особенно в отношении феноменологии, на самом деле началась еще до войны. В самом начале века Кюльпе и его коллеги в Вюрцбурге начали сомневаться в предпосылках, выдвинутых Вундтом, о том, что мышление не может быть исследовано экспериментальными методами. Методологические подходы Вюрцбургской школы к изучению процессов мышления были комбинацией традиционной «кабинетной» психологии с современными лабораторными методами⁷. Процесс интроспекции распределялся между двумя психологами: испытуемый наблюдал и отмечал свои мыслительные ощущения, а организатор эксперимента (*Versuchsleiter*) вызывал опыт, записывал отчет испытуемого и в некоторых случаях просил пояснений. Например, экспериментатор мог спросить, что чувствует испытуемый, когда слышит предложение « $2+5=8$ », и затем записать ответ. Этот метод был впервые применен Карлом Марбе с целью понять «какого рода ощущения могут быть добавлены к одному или нескольким мыслительным процессам для того, чтобы подняться на уровень суждения» (Marbe 1901: 15). Результаты Марбе были негативными: не обнаружилось такого рода внутреннего опыта, который был бы необходимым и достаточным для возникновения суждения, т.е. для «сознательных процессов, к которым были бы однозначно применимы предикаты “верно” или “ложно”» (1901: 10).

Для того, чтобы защитить достоверность своих результатов и надежность метода, Кюльпе и его коллеги нуждались в теоретических основаниях. Им также был необходим словарь для описания мыслительных процессов. В данной ситуации несколько сотрудников школы Кюльпе, включая самого Кюльпе, решили прибегнуть к феноменологии и другим направлениям интроспекционистской философской психологии. Например, Август Мессер использовал различие между «непосредственной» и «опосредованной» памятью, предложенное Теодором Липпсом, для обоснования отчетов об интроспекции. Опосредованная память была определена как воспоминания о более ранних

⁷ За более подробным анализом можно обратиться к Kusch (forthcoming). (Опубликовано в дальнейшем как: Kusch, Martin (1995) *Recluse, Interlocutor, Interrogator: Natural and Social Order in Turn-of-the-Century Psychological Research Schools*, Isis, Vol. 86, No. 3. (Sep., 1995), pp. 419–439. — Прим. перев.).

событиях, и, таким образом, являлась избирательной и подверженной искажениям. Непосредственная память, однако, являлась остатком, сохраняющимся в сознании на короткий период после возникновения психического переживания. Она являлась надежной и поддающейся наблюдению, и природа этого вида памяти не изменялась под влиянием наблюдения (Messer 1906: 17). Мессер также ссылаясь на работы Гуссерля в своей аргументации по поводу того, что переживания смысла и намерения (*intending*) не могут быть сведены к ощущениям (1906: 186; также см. Messer 1907: 417–25).

Доверие к авторитету Гуссерля достигло своего пика в работе Карла Бюлера «Факты и проблемы психологии мыслительных процессов» («*Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie der Denkvorgänge*» (1907, 1908a, 1908b)), состоящей из трех частей. Первая часть начиналась с восхваления методологии «Логических исследований» Гуссерля:

Гуссерль недавно разработал оригинальный и необычайно плодотворный метод, в некотором роде трансцендентальный метод. В общих словах, он предполагает, что возможно постичь логические нормы, и затем задается вопросом, что же позволяет нам делать выводы относительно того, что может рассматриваться как носитель этих подчиняющихся закону процессов (Bühler 1907: 298).

Бюлер идет дальше и заявляет, что его исследование «*hic et nunc* того, что содержится в опыте процесса мышления» докажет правоту предположения, сделанного Гуссерлем (1907: 329). В основной части своей работы Бюлер хотел идентифицировать «элементарные пережитые единицы опыта мышления». Согласно Бюлеру, эти единицы были «сознанием того, что...», т.е. «мыслями», которые не обязательно были представлены в сознании как ощущения, идеи или эмоции (1907: 329). В подобных рассуждениях Бюлер и его испытуемые, т.е. коллеги-психологи из Вюрцбурга, использовали терминологию Гуссерля.

Сильная зависимость Вюрцбургской школы от феноменологии не осталась незамеченной и другими авторами того времени. Эрнст фон Астер заметил, что «эксперименты Бюлера... являются... попыткой проверить и подтвердить феноменологию Гуссерля экспериментальными средствами» (1908: 62). Кажется естественным предположить, что чрезвычайно сильная полемическая реакция Вильгельма Вундта на работы Бюлера в частности подпитывалась не только тем фактом, что Бюлер порицал «эксперименты за письменным столом» Вундта, но также тем, что Бюлер использовал идеи философа, который, с точки зрения Вундта, разработал «психологию без психологии» (1910b: 580). Вундт написал обширную критику на работы Бюлера, и провозгласил, что Вюрцбургские эксперименты являлись «симуляцией эксперимента». Согласно Вундту, Вюрцбургские эксперименты нарушали все четыре критерия образцовой экспериментальной практики: 1) наблюдатель не имел возможности определить возникновение наблюдаемых процессов, 2) наблюдатель не мог следить за процессом, не нарушая самого процесса; 3) наблюдение невозможно воспроизвести, и 4) условия возникновения наблюдаемого процесса невозможно варьировать (1908a: 329–39). Бюлер в очередной раз ответил, обвинив Вундта в суждениях, сделанных «за письменным столом»

(1908a), на что Вундт резко возразил, что «Лейпцигская лаборатория [является] всем, чем угодно, но не совокупностью письменных столов» (1908a: 446).

Вюрцбургская парадигма прочно укоренила феноменологию в экспериментальной психологии. Несмотря на предупреждения Вундта о предполагаемых попытках Гуссерля превратить психологию в некую форму логики, Кюльпе, Бюлер и Мессер продолжали полагаться на некоторые центральные концепции и идеи Гуссерля.

Другой важный путь для вторжения феноменологии в психологию был предложен Карлом Ясперсом. В своих предвоенных работах по психопатологии Ясперс явным образом полагался на «феноменологические направления исследований» (см. Jaspers 1912). Ясперс делал различие между «объективной» и «субъективной» психологией: первая изучала «объективные симптомы», а также зависимость психической жизни от физиологических процессов, в то время как последняя исследовала «психическую жизнь как таковую». Субъективная психология была близка, или даже тождественна феноменологии: «Первый шаг [субъективной психологии] — определить и классифицировать психические явления, и выполнить эту работу означает непосредственным образом использовать идеи феноменологии» (1912: 393). В данном обращении к субъективной психологии Ясперс использовал призыв феноменологии к свободе от теории и предрассудков:

Мы должны оставить в стороне традиционные теории, психологические конструкции и материалистические мифологизации процессов мозга; мы поворачиваемся к тому, что мы можем понять, воспринять, различить и описать в реальной мысли. Как нас учит опыт, это очень трудная работа. Эта необычная феноменологическая свобода от предрассудков есть не то, что дано нам изначально, но является приобретением, на которое положено много труда (Jaspers 1912: 395).

Согласно Ясперсу, феноменологии было присуще множество «интуитивно привлекательных» черт, на которых вскоре будет основана ее популярность во времена Веймарской республики: «Феноменология не может сообщить свои результаты пользуясь только словами. Феноменолог должен рассчитывать на то, что читатель будет не только думать в процессе чтения, но и видеть... Это видение не есть сенсорное видение, но видение понимающее и интерпретирующее» (1912: 396). Понятно, что подобное непосредственное одобрение феноменологии, исходившее от одной из ключевых фигур философии жизни проложило еще одну дорогу для феноменологии в Веймарскую психологию.

Наиболее важным фактором, однако, для выдающегося положения феноменологии в Веймарской психологии являлся успех гештальт-психологии. Четверо главных сотрудников Берлинской школы гештальт-психологии, Вертхаймер, Келер, Коффка и Левин, были студентами Карла Штумпфа, учителя Гуссерля и ученика Brentano. Более того, теоретики гештальт-психологии в Граце и Праге тоже были студентами Brentano в первом или втором поколении (фон Эренфельс, Мейнонг, Бенусси) (Smith 1988). Терминология Гуссерля не имела такой значимости для гештальт-теории как, скажем, для психологии мышления Бюлера, но гештальт-теоретики несомненно видели преемственность между своими собственными работами и феноменологией. Таким образом, для Курта Левина естественно было отметить в 1927

году, что ключевые концепции гештальт-теории могут быть сведены к терминам Гуссерля, таким как «сущность» (Sosein) и «феноменологическому понятию ерочхе»:

Процесс вывода из опыта единственного мгновения универсального закона соответствует выводу от «примера» к «типу» — типу, который является инвариантным по отношению к историко-географическим координатам пространства-времени. Эта прогрессия не сопоставима с обобщением от нескольких членов группы на всю группу; скорее, речь идет о переходе от «момента» здесь и сейчас к «подобному» моменту... Концепция типа, к которой мы обратились, обладает некоторым сходством с понятием «сущности» (essence) в феноменологической логике. Этот тип так же характеризуется своей сущностью (Sosein), но не существованием (Dasein), и переход от индивидуального примера к типу в эмпирических науках (и, соответственно, от конкретного экспериментального момента к закону) демонстрирует некоторые черты, эквивалентные феноменологическому понятию ерочхе (когда мы заключаем «существование “в скобки”») (Lewin [1927] 1992: 394).

Возвращение Дильтея: Психология и философия жизни

Не все ведущие психологи Веймарской республики, однако, связывали свои исследования с феноменологией. Действительно, некоторые ключевые фигуры, подобно Эриху Йеншу и Феликсу Крюгеру отрицали феноменологию как «суррогат» научной психологии (Kriger 1924: 37) и высказывали мнение, что непредвзятое описание непосредственно данного опыта было стандартной процедурой задолго до Гуссерля (Jaensch 1927: 129). Отличительной чертой интеллектуального климата того времени является тот факт, что те психологи, которые не подчеркивали свою близость к феноменологии, чувствовали необходимость подчеркнуть свою зависимость от работ другого чистого философа и его психологии. Таким образом, Веймарская психология засвидетельствовала возвращение проекта, объявленного ведущим экспериментальным психологом, Германом Эббингаузом, в 1896 году безжизненным и поверхностным: интерпретативной психологии Дильтея. В то время как это событие должно было шокировать более пожилых представителей сообщества экспериментаторов, для психологов в целом не было ничего невозможного в возврате к идеям Дильтея. В подобном интеллектуальном климате, где доверие к работе как в науке, так и в искусстве, зависело от ее близости к философии жизни, психология Дильтея была естественным выбором. В конце концов, Дильтей получил одобрение от Шелера, Шпенглера, и Ясперса: Шелер расценивал его как предтечу философии жизни, Шпенглер принял на вооружение его исторический релятивизм и его критику экспериментальной психологии, а работа Ясперса «Психология мировоззрений» (Psychologie der Weltanschauungen) прочитывалась как дальнейшая разработка типологии мировоззрений Дильтея.

Наиболее влиятельным пропагандистом реставрации авторитета Дильтея был Феликс Крюгер, преемник Вундта в Лейпциге, и Эдуард Шпрангер. В 1915 году Крюгер все еще не скрывал своего критического настроения по отношению к Дильтею (1915: 113), но к 1924 году эта негативная предрасположенность переросла в полное одобрение. В 1924 году Крюгер утверждал, что критика, высказанная Дильтеем в адрес экспериментальной психоло-

гии, была правильной, и что психологи отныне должны следовать методологии, рекомендованной Дильтеем:

Психолог, чем бы он ни занимался, обязан вначале дать точное описание чистой формы; затем сравнить и проанализировать ее как можно полнее перед тем, как приступить к построению гипотез об условиях ее возникновения и перед тем, как определить связанные с ней закономерности... В этом отношении методологические требования Дильтея... верны (Kl. ger 1924: 36).

Крюгер также придерживался мнения о том, что полноценное понимание индивидуальности и личности было возможно только при опоре на концепцию Дильтея о «психологических структурах»:

Истинность его теорий «структурной взаимозависимости» между всеми видами психической жизни и некоторыми важными продуктами интеллектуальной культуры до сих пор не была использована в полной мере. Эти теории предсказали результаты значительного большинства исследований последних лет. Эти результаты указывают нам на то, что психические события — особенно когда они участвуют в образовании значения — не могут быть ухвачены посредством понимания, или на почве предсудков механистического атомизма и ассоцианизма. Психические явления могут быть поняты только эмпирически как жизненные события (1924: 32).

Крюгер особенно хвалил идею Дильтея о «целостном характере психической жизни»: «Содержание сознания никогда не составляет просто совокупность. Его различные части и стороны не соотносятся друг с другом как суммы; напротив, они всегда скомбинированы друг с другом как целое, и непосредственно принадлежат этому целому» (1924: 33). В работах Дильтея Крюгер также нашел ресурс для атаки на то, что он считал чрезмерным интеллектуализмом гештальт-психологии. Крюгер полагал, что психология пренебрегала ролью чувств в структурировании опыта: «Целостный характер всякого опыта (Erleben) выражается прежде всего, и наиболее сильно, в чувствах» (1924: 34). Конечно же, подобная критика была хорошо просчитана, принимая во внимание антирационалистические настроения Веймарской культуры.

Несмотря на слова одобрения, Крюгер не присоединился к мнению Дильтея о том, что могли бы, и возможно должны бы, существовать две различных ветви психологии:

Если судить по стандартам науки, совершенно неприемлемым была бы такая ситуация, в которой несколько, принципиально различных, психологий существовали бы бок о бок... С точки зрения нашей задачи, может быть только одна наука о формах и законах психической реальности (1924: 56).

Другие ученики Дильтея, однако, не разделяли эти настроения. В 1926 году психолог образования Эдуард Шпрангер привел уже пять различных предложений о том, каким образом могут быть названы эти две различные ветви психологии: «1. объяснительная vs. интерпретативная психология, 2. индуктивная психология vs. психология, основанная на интуитивном озарении [einsichtig], 3. психология элементов vs. структурная психология, 4. не изучающая процессы смыслообразования vs. изучающая процессы смыслообразования психология, 5. естественнонаучная vs. психология, основанная на методах наук о духе» (1926: 172). Шпрангер использовал три последние оппозиции.

Шпрангер чувствовал необходимость в обращении к наукам о духе на том основании, что отдельная личность и культура, к которой она принадлежит, были неразделимо связаны: «Субъект и объект [т.е. культура] могут быть мыслимы только как имеющие друг к другу непосредственное отношение. Делая акцент на объективной стороне, мы говорим о науках о духе... Выделяя отдельного субъекта, мы говорим о психологии». В то время как науки о духе изучают фактически существующие исторические сообщества или другие идеальные нормы и законы, психология, базирующаяся на науках о духе изучает встроенность индивида в сообщества и то, как это соотносится с идеальными требованиями. «Можно увидеть, что психология в этом смысле возможна только в тесном контакте с наукой о духе... Поэтому мы явно говорим о психологии, основанной на науках о духе» (1926: 7).

Шпрангер полагал, что психология, основанная на науках о духе в последние годы была заброшена. Это произошло потому, что современная психология чрезмерно полагалась на естественные науки: она изучала взаимоотношения между разумом и телом, выставляя требования к результатам, сравнимые с результатами физики, а построение концепций моделировалось на базе физических наук. Под последним обвинением Шпрангер понимал то, что современная ему психология стремилась найти элементарные частицы психической жизни. Таким образом, современная ему научная психология была «психологией элементов», или «психических атомов» (1924: 9).

Слабость подобного вида психологической мысли стала более чем очевидна Шпрангеру – и согласным с ним мыслителям, как, например, Теодору Эрисманну (1924, 1926) и Людвигу Клагесу (1920) – в результате ее сравнения с психологией, практикуемой поэтом или политическим историком: «Когда мы стараемся найти психологическое объяснение политической фигуре, мы не разлагаем фигуру на идеи, чувства и желания; мы спрашиваем, какой мотив был решающим, мы помещаем фигуру в исторический контекст смыслов и ценностей; остальное принимается на веру до тех пор, пока не возникнет необычное вторжение в естественный ход вещей» (1924: 11).

Шпрангер сравнивал атомистическую процедуру психологии элементов со вскрытием лягушки: «Когда мы производим вскрытие лягушки, мы познаем ее внутреннюю структуру, и, через гипотезы, приходим к выводу о физиологических функциях ее органов. Но мы не можем ожидать, что мы будем способны соединить части вновь и воссоздать жизнеспособную лягушку. Точно также, синтез психических элементов в психическое целое не ухватывает осмысленный контекст жизни в отношении к интеллектуальному окружению как целому» (1926: 12). Используя эту и подобные аналогии, Шпрангер стремился убедить читателя в том, что естественнонаучная психология элементов зависит от психологии структуры, т.е. психологии, основанной на науках о духе (1926: 19).

Как мы убедились выше, важность, которую Дильтей приписывал чувствам в русле рассуждений в духе философии жизни, использовалась как оружие против предполагаемого интеллектуализма гештальт-теории. Сами теоретики гештальта, однако, не стремились поставить себя в оппозицию Дильтею. Напротив, Вертхаймер, Келер и другие с упорством настаивали на том, что гештальт-теория была в духе понятий «целостности», «анти-атомиз-

ма», «типа» и «структуры» Дильтея. Эта работа по убеждению не была слишком сложной, поскольку данная терминология составляла инструментарий Берлинской гештальт-теории практически с момента ее появления. Ниже-приведенный конспект одной из лекций Вертхаймера, прочитанной в 1913, году является прекрасной тому иллюстрацией:

а. Кроме хаотичных, и по причине этого не поддающихся (надлежащему) пониманию впечатлений, содержание нашего сознания не просто суммарно, но образует определенную свойственную ему «общность», т.е. разделенную на фрагменты структуры, часто «осмысливаемую» из внутреннего центра... По отношению к этому центру остальные части системы состоят в отношении иерархии. Таковые структуры в точном смысле слова могут быть названы «гештальтами».

б. Почти все впечатления схватываются или как хаотичные массы – относительно редкий, крайний случай, – стремящиеся к более четкой организации, или гештальты. В конечном итоге, то, что понято, есть «впечатления структур» [Gebildfassungen]. К этим образованиям принадлежат объекты в широком смысле этого слова, а также относительные контексты [Beziehungszusammenhänge]. Они представляют собой нечто принципиально отличное от сумм индивидуальных компонентов. Часто «целое» понимается даже прежде, чем индивидуальные части достигают сознания.

с. Эпистемологический процесс – познание в точном смысле этого слова – часто является процессом «центрирования», или структурирования, или понимания определенного аспекта, который является ключом к упорядоченному целому, объединению индивидуальных частей, которые оказались в наличии (процитировано в Ash 1985: 308).

В публичных выступлениях сотрудники Берлинской школы шли еще дальше. Вертхаймер часто начинал свои выступления с обсуждения того, каким образом современная наука искажила подходы к изучению опыта, и затем представлял гештальт-теорию как лучшее лекарство (Leichtman 1979: 48). Вертхаймер и Келер называли предвоенную психологию «отмершей», «высохшей», «бессмысленной», «пустой», «статичной» и «фрагментарной» (Ringer 1969: 377), а Вертхаймер использовал шпенглеровскую тему (Spengler 1918: 405), обещая создать философию, которая станет как «симфония Бетховена, где у нас будет возможность уловить из части, составляющей целое, нечто о принципах структурной организации этого целого» (процитировано в Ash 1985: 322).

Респектабельный психолог

Такие психологи как Крюгер, Шпрангер, Вертхаймер и Келер приветствовались чистыми философами, и особенно философами, занимавшимися философией жизни и феноменологией. Действительно, не представляя интеллектуальной загадки или вызова для чистой философии, такого рода психология была прекрасной рекламой и средством для проникновения на научные факультеты. В 1920 году Келер предложил расширить идеи гештальт-психологии на территорию физики и заявил, что должны существовать «супрасуммарные» физические процессы, т.е. физические процессы, свойства которых не могут быть выведены из их частей (Ash 1985: 316). Хотя Келер отрицал, что подобные рассуждения были вызваны «романтическо-философским» мышлением, модель предложенной им естественной философии могла вполне претендовать на успех в те времена, когда даже самый суровый критик психологии, Эрих Йенш, хотел «возложить венок на забытую могилу Шеллинга» (1927: 120). Поэтому совершенно не удивительно, что в 1922 году

среди чистых философов не было возражений против назначения Келера на должность профессора философии и директора Института психологии. Новая психология не вызвала протестов даже в 1922 году, когда ее бюджет был увеличен более чем на 600 процентов и почти перекрыл объем финансирования Физического института (Ash 1980a: 286).

Принимая во внимание размах деятельности немецких психологов, кажется только естественным, что в 1929 году «Общество экспериментальной психологии» (*Gesellschaft für experimentelle Psychologie*) заменило слово «экспериментальный» в своем имени на «немецкий» (Ash 1980a: 286). Двадцать лет назад об этом нельзя было даже и подумать, но в тот момент это являлось лишь наиболее уместным отражением происходившей реорганизации психологического знания и исследований. «Экспериментальная психология» слишком уж сильно ассоциировалась с «естественнонаучной психологией элементов». «Экспериментальная психология» слишком сильно напоминала о тех временах, когда по крайней мере некоторые философы/психологи задавались целью обновить философию методами естественных наук и естественнонаучной теорией человеческого сознания. Никто не хотел напоминаний о прошлом.

Перевод с английского Елены Симаковой
По изданию: Martin Kusch. *Psychologism, A Case Study in the Sociology of Philosophical Knowledge*, Routledge, 1995. Pp. 211-271

Библиография

- Ash, M. (1980a), «Academic politics in the history of science: experimental psychology on Germany, 1879–1941», *Central European History* 13: 255–86.
- Ash, M. (1985), «Gestalt Psychology: origins in Germany and reception in the United States», in C. Buxton (ed.) *Points of View in the Modern History of Psychology*, Academic Press, New York, London, 295–344.
- Aster, E. v. (1908), «Die psychologische Beobachtung und experimentelle Untersuchung von Denkvorgängen», *Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane*, I: *Zeitschrift für Psychologie* 49: 56–107.
- Bauch, B. (1915) Review of Wundt (1915), *Kantstudien* 20: 305–10.
- Bringmann, W.G. and G. Ungerer (1980a), «Experimental vs. educational psychology: Wilhelm Wundt's letters to Ernst Meumann», *Psychological Research* 42: 5–18.
- Bühler, K. (1907), «Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie der Denkvorgänge: I. Über Gedanken», *Archiv für die gesamte Psychologie* 9: 297–365.
- Bühler, K. (1908a), «Nachtrag: Antwort auf die von W. Wundt erhobenen Einwände gegen die Methode der Selbstbeobachtung an experimentell erzeugten Erlebnissen», *Archiv für die gesamte Psychologie* 12: 93–123.
- Bühler, K. (1908b) «Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie der Denkvorgänge: II. Über Gedankenzusammenhänge» *Archiv für die gesamte Psychologie* 12: 1–23.
- Bühler, K. (1908c), «Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie der Denkvorgänge: III. Über Gedankenerinnerungen», *Archiv für die gesamte Psychologie* 12: 24–92.
- Bühler, K. (1926) «Die Krise der Psychologie», *Kantstudien* 31 455–526.
- Bergert, H. (1925), «Zur Kritik der Phänomenologie», *Philosophisches Jahrbuch* 38: 226–30.
- Cassirer, E. (1925a) «Paul Natorp», *Kantstudien* 30: 273–98.
- Cohn, J. (1914–15), «Widersinn und Bedeutung des Krieges», *Logos. Internationale Zeitschrift für Philosophie der Kultur* 5: 125–44.
- Cohn, J. (1923–24), «Über einige Grundfragen der Psychologie», *Logos. Internationale Zeitschrift für Philosophie der Kultur* 12: 50–87.
- Dessoir, M. (1916) *Kriegspsychologische Betrachtungen*, Hirzel, Leipzig.
- Dorsch, F. (1963) *Geschichte und Probleme der angewandten Psychologie*, Huber, Berne.
- Elias, N. (1978), *Über den Prozeß der Zivilisation: Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen*, Suhrkamp, Frankfurt am Main.

- Endri , K.F. (1921), Review of Moog (1919), *Kantstudien* 26: 193–4.
- Erismann, T. (1924), *Die Eigenart des Geistigen: Induktive und einsichtige Psychologie*, Leipzig.
- Erismann, T. (1926), «Erkl ren und Verstehen in der Psychologie», *Archiv f r die gesamte Psychologie*, 55: 111–136.
- Erkl rung (1931) «Erkl rung des Deutschen Lehrervereins zur Stellung der Psychologie an den deutschen Hochschulen», *Archiv f r die gesamte Psychologie* 79: 575–6.
- Eucken, R. (1901), «Thimas von Aquino und Kant: Ein Kampf zweier Welten», *Kantstudien* 6: 1–18.
- Faust, A. (1927), *Heinrich Rickert und Seine Stellung innerhalb der deutschen Philosophie der Gegenwart*, Mohr, T bingen.
- Forman, P. (1971), «Weimar culture, causality, and quantum theory, 1918–1927: adaptation by German physicists and mathematicians to a hostile intellectual environment», *Historical Studies in the Physical Sciences*, 3: 1–115.
- Gadamer, H–G. (1977), *Philosophische Lehrjahre*, Klostermann, Frankfurt am Main.
- Geuter, U. (ed.) (1986) *Daten zur Geschichte der deutschen Psychologie*, Hogrefe, G ttingen.
- Goldschmidt, R.H. (1912), «Bericht ber den V. Kongre f r experimentelle Psychologie, Berlin vom 16–19 April 1912», *Archiv f r die gesamte Psychologie* 24: 71–97.
- Gr nwald [1934] 1982 «Wissenssoziologie und Erkenntniskritik», in V. Meja and N. Stehr (eds.), *Der Streit um die Wissenssoziologie*, vol. 2: *Rezeption und Kritik der Wissenssoziologie*, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 748–55.
- Gutberlet, C. (1898), «Die “Krisis in der Psychologie”», *Philosophisches Jahrbuch* 11: 1–19, 121–46.
- Heidegger, M. (1927), *Sein und Zeit*, Niemeyer, T bingen.
- Hepp, C. (1987) *Avantgarde: Moderne Kunst, Kulturkritik und Reformbewegungen nach der Jahrhundertwende*, DTV, Munich.
- Hofmann, P. (1921), *Die Antinomie in Problem der G ltigkeit*, de Gruyter, Berlin.
- Honecker, M. (1921), *Gegenstandslogik und Denkklogie*, D mmler, Berlin.
- Husserl, E. ([1925] 1989), « ber die Reden Gotamo Buddhos», in E. Husserl, *Aufs tze und Voltr ge* (1922–37), *Husserliana XXVII*, ed. By T. Nenon and H.R. Sepp, Kluwer, Dordrecht, 125–81.
- Husserl, E. ([1931] 1989), «Ph nomenologie und Anthropologie», in E. Husserl, *Aufs tze und Voltr ge* (1922–37), *Husserliana XXVII*, ed. By T. Nenon and H.R. Sepp, Kluwer, Dordrecht, 164–181.
- Illemann, W. (1932), *Husserls vor–ph nomenologische Philosophie*, Hirzel, Leipzig.
- Klages, L. (1920), *Prinzipien der Charakterologie*, 2nd ed., Barth, Leipzig.
- Jaensch, E. (1927), «Die Psychologie in Deutschland und die inneren Richtlinien ihrer Forschungsarbeit», in W. Moog (ed.) *Jahrb cher der Philosophie: Eine kritische bersicht der Philosophie der Gegenwart*, vol. 3, Liebzig, W rzburg, 93–168, 334–40.
- Janssen, F. (1917), «Psychologie und Milit r», *Zeitschrift f r P dagogische Psychologie und experimentelle P dagogik* 18: 97–109.
- Jaspers, K. (1912), «Die ph nomenologische Forschungsrichtung in der Psychopathologie», *Zeitschrift f r die gesamte Neurologie und Psychiatrie* 9, 391–408.
- Jaspers, K. (1919), *Psychologie der Weltanschauungen*, Springer, Berlin.
- Kraft, W. (1973), *Spiegelung der Jugend*, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
- Kr ger, F. (1915), « ber Entwicklungspsychologie; Ihre sachliche und geschichtliche N twendigkeit», Engelmann, Leipzig.
- Kr ger, F. (1924), «Der Strukturbegriff in der Psychologie», in B hler (ed.) *Bericht ber den VIII, Kongre f r experimentelle Psychologie in Leipzig vom 18–21 April 1923*, Fischer, Jena, 31–56.
- K lpe, O. (1915) *Die Ethik und der Krieg*, Hirzel, Leipzig.
- Kusch, M. (forthcoming), «Recluse, interlocutor, interrogator: the imageless thought controversy revisited».
- Leichtman, M. (1979), «Gestalt theory and the revolt against positivism», in *Psychology in Social Context*, ed. By Allan R. Buss, Irvington, New York, 47–75.
- Lewin, K. ([1927] 1992), «Law and experiment in psychology», *Science in Context* 5: 385–416.
- L bbe, H. (1974) *Politische Philosophie in Deutschland*, DTV, Munich.
- Mannheim, K. ([1931] 1960), «Sociology of Knowledge», in K. Mannheim, *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge*, Routledge & Kegan Paul, London, 237–80.
- Marbe, K. (1901), *Experimentell–psychologische Untersuchungen uber das Urteil: Eine Einleitung in die Logik*, Engelmann, Leipzig.
- Marbe, K. (1922), «Die Stellung und Behandlung der Psychologie an den Universit ten», in K. B hler (ed.) *Bericht ber den VII, Kongre f r experimentelle Psychologie in Marburg vom 20–23 April 1921*, Fischer, Jena, 150–1.
- Marbe, K. (1961) «Autobiography», in C. Murchinson (ed.), *A History of Psychology in Autobiography*, vol. 3, Russel and Russel, New York, 181–213.
- Messer, A. (1906), «Experimentell–psychologische Untersuchungen ber das Denken», *Archiv f r die gesamte Psychologie* 8: 1–224.
- Messer, A. (1907), «Bemerkungen zu meinen, Experimentell–psychologische Untersuchungen ber das Denken», *Archiv f r die gesamte Psychologie* 10: 409–28.
- Mehlis, G. (1914–15), «Der Sinn des Krieges», *Logos, Internationale Zeitschrift f r Philosophie der Kultur* 5: 252–66.

- Messer, A. (1914a), «Der Krieg und die Schule», *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie und experimentelle Pädagogik* 15: 529–40.
- Meyer (1911) «Experimentelle Analyse psychischer Vorgänge beim Schießen mit der Handfeuerwaffe», *Archiv für die gesamte Psychologie* 20: 397–413.
- Meyer (1912a), «Psychologische und militärische Ausbildung», *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie und experimentelle Pädagogik* 13: 81–5.
- Meyer (1912b), «Vorschläge zu Versuchen in Anschluss an meinen Aufsatz Experimentelle Analyse psychischer Vorgänge beim Schießen mit der Handfeuerwaffe», *Archiv für die gesamte Psychologie* 22: 47–9.
- Moog W. (1919), *Logik, Psychologie und Psychologismus*, Niemeyer, Halle.
- Morgenstern, G. (1920–21), Review of Moog (1919), *Annalen der Philosophie und philosophischen Kritik* 2:539–42.
- Natorp, P. (1915), *Der Tag des Deutschen*, Rippel, Hagen.
- Natorp, P. (1918a), *Die Seele des Deutschen*, Rippel, Hagen.
- Natorp, P. (1918b), *Deutscher Weltberuf*, Diederichs, Jena.
- Osier D.V. and R.H. Wozniak (1984), *A Century of Serial Publications in Psychology 1850–1950: An International Bibliography*, Kraus International Publications, Millwood, N.Y.
- Rieffert, J.B. (1922), «Psychotechnik im Heer», in K.B. Hler (ed.) *Bericht über den VII Kongress für experimentelle Psychologie in Marburg vom 20.–23. April 1921*, Fischer, Jena, 79–96.
- Riehl, A. ([1915] 1925), «Die geistige Kultur und der Krieg», in A. Riehl, *Philosophische Studien aus vier Jahrzehnten*, Quelle & Meyer, Leipzig, 313–25.
- Ringer, F.K. (1969), *The decline of the German Mandarins 1890–1933*, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
- Scheler, M. ([1901] 1971), «Die transzendente und die psychologische Methode: Eine grundsätzliche Erörterung zur philosophischen Methodik», in M. Scheler, *Frühe Schriften*, ed. By M. Scheler and M.S. Frings, Francke, Berne: 197–336.
- Scheler, M. (1915a), *Der Genius des Krieges und der deutsche Krieg*, Der Neue Geist Verlag, Leipzig.
- Scheler, M. (1916), *Krieg und Aufbau*, Der Neue Geist Verlag, Leipzig.
- Scheler, M. (1919), *Die Ursachen des Deutschenhasses*, Der Neue Geist Verlag, Leipzig.
- Scheler, M. ([1922] 1973), «Die deutsche Philosophie der Gegenwart», in M. Scheler, *Gesammelte Werke*, vol. 7, ed. By M.S. Frings, Francke, Berne, 259–326.
- Scheler, M. ([1924] 1980), «Probleme einer Soziologie des Wissens», in M. Scheler and N. Stehr (eds.), *Der Streit um die Wissenschaftssoziologie*, vol. 1, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 68–127.
- Schnedelbach (1984), *Philosophy in Germany 1831–1933*, tr. E. Matthews, Cambridge University Press, Cambridge.
- Schingnitz, W. (1932), «Geleitwort des Herausgebers», in W. Illeemann, *Husserls vorphänomenologische Philosophie*, Hirzel, Leipzig.
- Smith, B. (ed.) (1988) *Foundations of Gestalt Theory*, Philosophia, Munich.
- Spengler, O. (1918), *Der Untergang des Abendlandes: Umriss einer Morphologie der Weltgeschichte*, vol. 1: *Gestalt und Wirklichkeit*, Beck, Munich.
- Spranger, E. (1926), «Die Frage nach der Einheit der Psychologie», *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften*. Jahrgang 1926. Philosophisch-historische Klasse, Verlag der Akademie der Wissenschaften, Berlin: 172–99.
- Spranger, E. ([1930] 1982) «Ideologie und Wissenschaft», in V. Meja and N. Stehr (eds.) *Der Streit um die Wissenschaftssoziologie*, vol. 2, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 634–6.
- Stumpf, C. (1918), «Über den Entwicklungsgang der neueren Psychologie und ihre militärtechnische Verwendung», *Deutsche militärärztliche Zeitschrift* 5/6: 273–82.
- Verworn, M. (1915), *Die biologischen Grundlagen der Kulturpolitik: Eine Betrachtung zum Weltkrieg*, Fischer, Jena.
- Wundt, W. (1908a), «Kritische Nachlese zur Ausfragemethode», *Archiv für die gesamte Psychologie des Denkens*, *Psychologische Studien* 3: 301–60.
- Wundt, W. (1910b), «Psychologismus und Logizismus», in W. Wundt, *Kleine Schriften*, vol.1, Engelmann, Leipzig, 5: 279–93.
- Wundt, W. (1910c), «Über reine und angewandte Psychologie», *Psychologische Studien* 5: 1–47.
- Wundt, W. (1913), *Die Psychologie im Kampf ums Dasein*, Engelmann, Leipzig.
- Wundt, W. (1914b), *Über den wahrhaften Krieg*, Kröner, Leipzig.
- Wundt, W. (1915), *Die Nationen und ihre Philosophie: Ein Kapitel zum Weltkrieg*, Kröner, Stuttgart.
- Zechlin, E (1969) *Die deutsche Politik und die Juden im Ersten Weltkrieg*, Vandenhoeck, Göttingen.
- Ziehen, T. (1916), *Die Psychologie großer Heerführer: Der Krieg und die Gedanken der Philosophen und Dichter vom ewigen Frieden*, Barth, Leipzig.
- Ziehen, T. (1920), *Lehrbuch der Logik auf positivistischer Grundlage mit Berücksichtigung der Geschichte der Logik*, A. Markus & E. Webers, Bonn.